

**Международный Фонд социально-экономических
и политологических исследований (Горбачев-Фонд)**

ГОРБАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: ИДЕИ И ЛЮДИ

1968–1988–2008. Судьбы идей

Шестидесятники в жизни страны

Россия: определился ли новый вектор?

25 лет без Берлинской стены.

Память и импульсы для будущего

Москва 2015

УДК 94(47+57)

Г 67

Горбачевские чтения. Вып. 10. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: ИДЕИ И ЛЮДИ. 1968-1988-2008. Судьбы идей. Шестидесятники в жизни страны. Россия: определился ли новый вектор? 25 лет без Берлинской стены. Память и импульсы для будущего / Междунар. Фонд соц.-экон. и политол. исслед. (Горбачев-Фонд). — М.: Горбачев-Фонд, 2015. — С. 198.

*Под редакцией О.М. Здравомысловой
Компьютерный набор И.Г. Вагина*

ISBN 978-5-94101-294-7

© Горбачев-Фонд, 2015

© Оформление И.П. Матушкина И.И., 2015

Подписано к печати 02.04.2015.

Формат 60x90/16. Объем 12.5 п.л. Тираж 250 экз.

Международный фонд социально-экономических
и политологических исследований (Горбачев-Фонд)

Издатель ИП Матушкина И.И.

Отпечатано в ООО «СамПолиграфист»

Содержание

1968–1988–2008. Судьбы идей	6
Шестидесятники в жизни страны	58
Россия: определился ли новый вектор?	133
25 лет без Берлинской стены. Память и импульсы для будущего. Немецко-Российский диалог	167

От редактора

Для десятого — юбилейного — выпуска Горбачевских чтений выбраны материалы четырех Круглых столов. Первый из них «1968–1988–2008. Судьбы идей» был организован Горбачев-Фондом и Фондом имени Генриха Белля 26 ноября 2008 г., когда в мире отмечали 40-лентие революционных событий 1968 года. Круглый стол «Шестидесятники в жизни страны», прошедший 15 марта 2011 г., был приурочен к 80-летию Михаила Сергеевича Горбачева. Дискуссия «Россия: определился ли новый вектор?» состоялась 10 декабря 2013 г. Она отозвалась на юбилей публикации знаковой книги эпохи Перестройки — сборника статей «Иного не дано», опубликованного в 1988 г. Завершает 10-й выпуск Горбачевских чтений немецко-российский диалог «25 лет без Берлинской стены. Память и импульсы для будущего» — он был организован Горбачев-Фондом и Фондом Конрада Аденауэра 21 октября 2014 г. Таким образом, каждый из материалов выпуска откликается на конкретную «дату в истории».

В то же время 10-й выпуск Горбачевских чтений — цельная, продолжающаяся дискуссия, точнее, спор, растянувшийся на семь лет: 2008–2014. В нем интеллигенция — участник и один из инициаторов перемен — выступает как свидетель, летописец, иногда как судья и обвиняемый одновременно, чаще как интерпретатор и аналитик с различным пониманием смысла событий и мотивов главных действующих лиц. Но главное — спор идет о значении интеллигенции и в незабываемые «моменты свободы», когда будущее «вдруг» открывается, и во времена, когда, кажется, будущее исчезает.

1968–1988–2008. СУДЬБЫ ИДЕЙ

26 ноября 2008 г.

Между эпохами, обозначенными тремя датами, разделенными двумя двадцатилетиями, есть связь, преемственность и разрыв.

1968 год. Вспыхнувшие, как будто бы внезапно, революционные события на Западе — прежде всего в Европе. Кризис «левой идеи» и «Пражская весна». Начало современной истории Запады. В том же 1968-м происходят поворотные события в Советском Союзе: ввод советских войск в Чехословакию, начало позднего социализма, названного позже «застоем»; начало активного диссидентского движения.

1988 год. Для Советского Союза он был своего рода отложенный 1968-й. 1988-й называют решающим годом Перестройки. В середине года, в июне, состоялась XIX всесоюзная партийная конференция. Было сформулировано магистральное направление перестройки — на преодоление тоталитарного прошлого, построение правового государства, демократизацию политической и общественной жизни. Началась открытая борьба между реформаторами и охранителями — борьба за выбор исторического пути.

2008 год. Мировой кризис и ощущение исторического рубежа. Предварительный итог пути, пройденного за двадцать лет постсоветских лет. Все труднее говорить о будущем, все больше вопросов о том, как начиналось «время перемен»: 1968–1988.

Ольга Здравомыслова

Выступающие

Михаил Горбачев, экс-президент СССР, президент Горбачев-Фонда;

Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы;

Александр Архангельский, журналист;

Александр Аузан, президент Института национального проекта «Общественный договор»;

Алексей Берелович, историк, социолог (Франция);

Татьяна Ворожейкина, политолог, Левада-центр;

Александр Даниэль, член правления Международного Общества «Мемориал»;

Ольга Здравомыслова, исполнительный директор «Горбачев-Фонда»;

Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя»;

Павел Кудюкин, руководитель центра НИУ «Высшая школа экономики»;

Вадим Межуев, главный научный сотрудник Института философии РАН;

Ян Младек, депутат Парламента Чехии;

Арсений Рогинский, председатель правления Международного Общества «Мемориал»;

Леонид Седов, социолог;

Борис Славин, помощник Президента «Горбачев-Фонда»;

Ральф Фюкс, сопредседатель фонда им. Генриха Белля;

Милан Хорачек, депутат Европейского парламента.

Выступления

Арсений Рогинский:

68-й заставил нас задавать себе самые главные вопросы: как жить дальше? можно ли что-то делать? нужно ли что-то делать?

Мое поколение часто называют «поколением 1968 года» — в 68-ом мне было 22 года. Еще чаще нас называют «детьми 1968 года». Да и мы сами привыкли себя так называть.

Только недавно я задумался: а, собственно говоря, почему? Потому что, если мы дети 68-го в том смысле, в каком понимают это слово на Западе, то значит в этом году мы должны были бы задавать «неудобные вопросы» родителям, а потом, не получая удовлетворительных ответов, уходить из дома, становиться ужасно левыми и даже, может быть, обливать бензином родительские машины. Но ничего подобного не было. И не только потому, что у родителей, как правило, не было машин. Еще и потому, что неудобные вопросы, если и задавали, то задавали наши старшие братья и сестры, — это было после 56-го, а не после 68-го. Мы же не уходили из дома и, в основном, даже не стали левыми. Так что в «западном» смысле мы — не дети 68-го.

Если рассуждать с позиций «российского» смысла, то получается, что в этом году нам было положено разочароваться то ли в Советской власти, то ли в «социализме с человеческим лицом». Но мне кажется, что подобное разочарование, скорее всего, испытало предыдущее поколение, а вовсе не мы. Потому что для моего поколения «очарованность» социализмом была исчерпана арестом Бродского в 1963-м, Синявского и Даниэля в 1965-м, очень важным для нас всех письмом Солженицына Съезду писателей в 1967-м, наконец, процессом Гинзбурга-Галанскова в начале 1968-го.

Я заканчивал университет в 1968-м. Мы пели песни Галича, и в них уже были расставлены все точки над «и». Главное слово 1968-го — «Прага» — само по себе ничего не поменяло

в сознании моего поколения. Так что получается, что для моего поколения 1968 год переломным не был...

И все-таки он был переломным! Не танки в Праге, а демонстрация 25 августа на Красной площади, не действия вождей, а «Хроника текущих событий», которая начала издаваться в 1968 году — вот что очень сильно и по-настоящему подействовало на нас.

68-й заставил нас задавать себе самые главные вопросы: как жить дальше; можно ли что-то делать; нужно ли что-то делать? То есть вопросы, связанные с участием или неучастием. И еще — моральные вопросы: за что уважать себя и других? где границы компромиссов?

Вот на эти вопросы мы — каждый по-своему — пытались отвечать. И кажется, только в 1988-м ответы были более или менее ясны. А что касается сегодняшнего дня, то опять встают те же самые вопросы — вопросы 68-го.

Именно поэтому, кажется мне, мое поколение ощущает причастность к 68-му, поэтому мы и вправду его «дети». Мы его плохо помним, этот наш 68-й, плохо его знаем. Надеюсь, что сегодняшний разговор будет каким-то образом содействовать нашему пониманию и нашей памяти.

Ральф Фюкс:

Мы находимся сейчас в историческом промежутке, когда демократическая трансформация застопорилась не только в России.

1968 год и 1988 год — для меня также биографические даты. Как и для Арсения Рогинского, для меня это важные, личные политические и исторические факты, воспоминания и соображения.

1968-й и 1988-й год были годами крупного политического всплеска в Европе, связанные с большими надеждами на лучшее будущее.

1968 год — это год антиавторитарного восстания, освободительного движения на Западе, которое приобретало все более широкий размах. В Восточной Европе это было движе-

ние в Варшаве и «Пражская весна». Открытые выступления правозащитников в Советском Союзе можно рассматривать как преддверие крупных событий, которые осуществились позже, в 1988-м году.

Прага 1968-го не только имела свое специфическое значение для стран и обществ социализма. Прага 1968-го была также определенной разделительной линией между левой Западной Европой для тех, кто, как я, тогда тоже был молод и симпатизировал идее «социализма с человеческим лицом». Советский Союз положил конец этой идее, введя войска Варшавского Договора в чехословацкую столицу.

Я лично могу сказать, что для меня чрезвычайно большая честь здесь находиться рядом с Михаилом Сергеевичем. И возможно именно в России необходимо сказать, что, действительно, бессмертная заслуга Горбачева, состоит в том, что империя смогла прекратить свое существование бескровно, что закончилась бескровно холодная война и была открыта дорога для демократического развития восточноевропейских государств.

Сегодня мы проведем ретроспективное рассмотрение идей и надежд 1968 года и 1988 года. Мы посмотрим на идею «общеευропейского дома» и призыв к «новому политическому мышлению», преодолевающему конкуренцию систем.

Сегодня необходимо еще раз вспомнить об этих импульсах, поскольку 2008-й год — это, скорее, год отрезвления. Мы находимся в таком историческом промежутке, когда демократическая трансформация застопорилась не только в России. Мы наблюдаем развитие новой конфронтации между Россией и НАТО. Мы видим вызывающие озабоченность обострение риторики и обострение фактических конфликтов (достаточно вспомнить в этой связи войну в Грузии).

Сейчас более необходимо, чем когда бы то ни было, совместно обсуждать то, как оживить идеалы 1968-го и 1988-го и каким образом реализовать в политической реальности и претворить в жизнь общеευропейскую перспективу, которая была знаковой для этих обоих годов.

Александр Архангельский:

В 1968 году и в 1988 году было колоссальное ожидание новых идей.

Арсений Рогинский сказал, что он «дитя 1968-го». Я, как и всё мое поколение, — «дитя 1987–1988 года», потому что мозги начали разворачиваться в каком-то другом направлении именно тогда. Я из обычной советской семьи. В моем окружении не было диссидентов. Обычная школа, педагогический институт им. Ленина. Для того, чтобы «выбило серные пробки из ушей», нужно было, чтобы что-то случилось... Для меня «случилось» — в 1987–1988-м. Так что в этом смысле я — дитя Перестройки, и, как всегда происходит, я неблагодарное дитя, спорящее и благодарящее одновременно. Михаил Сергеевич, спасибо Вам личное, человеческое и поколенческое.

1968 год — точка, которую мы потом, задним числом пытались осмыслять. Мы знаем, что всякая реконструкция в истории есть конструкция. Я не могу говорить о 1968-м как о «факте», но я могу сказать о реконструкции 1968-го в моем сознании и сознании поколенческом.

Что для меня парадоксально до сих пор и что по-прежнему важно? Я читаю воспоминания людей, активно вовлеченных в процесс и здесь, и на Западе. Я читаю их восхищенные рассказы про то, какое электрическое воздействие оказывали идеи на них Герберта Маркузе. Я пытаюсь читать Маркузе, и у меня ничего не получается. Я вижу, что рассказы о Маркузе важнее, чем сам Маркузе. Он умер. Бог умер, левый вождь Маркузе умер. Осталось то, что люди пережили по поводу Маркузе, и то, что они потом преобразовали для своей дальнейшей жизни, к которой Маркузе не имеет уже никакого отношения. Кроме одного. Он дал гениальную формулу прежней эпохи — «одномерный человек». Люди захотели стать «неодномерными». И те, у кого получилось это, вопреки всем историческим обстоятельствам, состоялись. Те, у кого это не вышло, были списаны. Они были списаны или смещены на обочину.

В чем принципиальное отличие 1968-го, в скобках — 1988-го, от 2008-го? Не в политических обстоятельствах. Не в том, что мир усложнился — а он действительно усложнился.

А в том, что в 1968 году и в 1988 году было колоссальное ожидание новых идей. Из ожидания новых идей и встречной попытки предложить эти новые идеи высекается какая-то историческая искра — и начинается движение вперед. Потом, возможно, идеи отмирают. А люди остаются.

В 2008-м, мне кажется, мы переживаем кризис безыдейности с любой стороны. Мы не видим ни новых больших идей, мы не видим и ожидания новых больших идей. Мы видим бюрократический процесс в Европе и псевдодержавный, но тоже бюрократический процесс в России. Политика подменена бюрократией. А там, где правит бюрократия, идеи невозможны. Однако возможны технические «донастройки», обсуждения — кто кого, кто подвинется, кто не подвинется и т.д.

Когда нет больших идей и нет ожидания идей, возникает то, что, собственно говоря, может происходить именно в бюрократическую эпоху. Возникает подмена тезиса — и касательно настоящего, и касательно будущего, и касательно прошлого.

Я с большим интересом посмотрел по одному из телеканалов фильм, посвященный 1968 году в советской и мировой истории. Там были представлены, как и положено, разные позиции, разные точки зрения. Кадры были замечательные, прекрасные. И Париж был, и Польша, и Советский Союз, и Прага. Но мне запала в память формула: «только сейчас, когда Запад обложил нас по всей линии границ системой ПРО, мы поняли, насколько вынужденным было решение советского руководства о вводе танков в Прагу». То, что это сказано во всеуслышание, — очень полезно, потому что мы увидели: есть реакция общества или ее нет. Ведь проблема не в том, что это было сказано по федеральному каналу — проблема в том, что никакой общественной реакции не последовало. Не власть запретила эту реакцию. Она только проверила, замерила — замер показывает, что никакой реакции нет. Подобное может быть только в вакууме идейном, в вакууме смысловом, в вакууме общественного запроса.

Мы через прошлое (мы, а не власть) должны прощупывать свои пути, векторы своего движения в будущее. 1968-й и 1988-й вошли в историю — но реагируя подобным образом

сейчас, в 2008-м, на свое недавнее прошлое, имеем ли мы право на новое будущее?..

Милан Хорачек:

Изменив самого себя, можно оставаться верным себе.

Я вспоминаю первую половину 1968 года в очень светлых тонах. Радость тогдашнего прорыва, как мне уже напомнили — радость оттого, что была попытка создать «социализм с человеческим лицом». Это Александр Дубчек заслужил, конечно, славу человека, который хотел восстановить именно такое лицо социализма. Это был человек, который имел хорошую человеческую натуру и отличался от тех, кто на параде 1 Мая стоял на трибуне и махал рукой проходящим мимо толпам.

Для меня 1968 год омрачен унижением оккупации 21 августа. Ночью я увидел, как советские танки проехали по улице, в строительстве которой участвовал. (Я тогда работал в стройбате как политически неблагонадежный, и поэтому знал, как тяжело строятся и прокладываются улицы и дороги). Не только меня, но и многих других этот опыт привел к определению своего жизненного и политического пути. Мы были оппозиционерами, диссидентами в тогдашней Чехословакии и в Восточной Европе или мы были в эмиграции. Мы могли дискутировать о свободе, демократии, правах человека и социализме на Востоке и на Западе, находясь за «колючей проволокой».

В 1968 году Запад оказал нам помощь. Даниэль Кон-Бендит и Руди Дучке помогали мне во Франкфурте, где я оказался. Они помогли мне понять, почему 1968 год для западных обществ является решающим моментом, или годом преобразования, и временем — тогда не кровавой, но настоящей революции.

Позже в разговорах с Генрихом Бёллем, Львом Копелевым и другими мы обсуждали вопросы прав человека и подчеркивали: вопросы прав человека означают, что необходимо вмешиваться и в дела соседа. Этот подход помог нам в 80-е годы вести дискуссии с тогдашними функционерами в Будапеште, Варшаве и Москве.

Конечно, для нас не просто радостным был 1985 год и приход Горбачева к руководству СССР. То, что пришло вместе с гласностью и Перестройкой, для людей, жизненный путь которых определил 1968 год в Праге, и людей этого поколения в Берлине, Париже — для всех нас всех это было подтверждением того, что можно изменить самого себя, и изменив самого себя, оставаться верным себе. Это было центром в политических процессах, дискуссиях в тогдашнем обществе. Иначе не было возможно сделать то, что было сделано 1988–1989 годах.

А сейчас, совершив «большой скачок» в 2008 год, мы должны констатировать, что тенденция развития общества, связанная с глобализацией, также приносит с собой значительные трудности. Это одна сторона проблемы. Другая ее сторона состоит в том, что базовая мысль — свобода. То есть базовая идея свободы, демократии, прав человека, сохранения мира остается самым важным, а борьба за это остается нашей главной задачей.

Людмила Алексеева:

Диссидентское движение в СССР имеет общие корни с событиями 1968 года на Западе, но родилось не под их влиянием.

События 1968 года, в разных странах очень разные, имеют одно и то же происхождение, один корень. Все эти события были отзвуком трагедии первой половины XX века, двух мировых войн и их наследия — тоталитарных режимов. Это не могло не привести к размышлениям о необходимости коренного изменения во всем мире отношений государства и личности. Если совсем просто сформулировать, то о необходимости замены принципа «человек для государства» — на принцип «государство для человека».

Эти размышления в каждой стране базировались на пережитом ее гражданами, и условия для этих размышлений в разных странах тоже были разными. На Западе поиск происходил в условиях свободного обмена идеями, информацией. Там уже за 20 лет до рассматриваемых нами событий родился

великий документ XX века — Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 года). И на Западе поколение 1968 года уже задумывалось над созданием (а может быть, не задумывалось, а чувствовало необходимость создания) механизмов для воплощения в жизнь тех идеалов, которые провозгласила Всеобщая декларация прав человека. Потому что это была Декларация, в нее же механизмы никакие заложены не были. Только идеи были провозглашены.

Я не знаю, насколько этот документ и весь поток идей с ним связанный был известен в Польше и Чехословакии. А в Советском Союзе мало кто о нем знал — от нас его скрывали. Но и у нас шел тот же духовный поиск, что и на Западе. Ведь мы пережили три революции и Гражданскую войну. А государственный террор в нашей стране превзошел по протяженности во времени и по свирепости все тоталитарные режимы XX столетия.

Мы были отгорожены от всего человечества «железным занавесом». Первые «дырочки» в этом занавесе стали появляться лишь после смерти Сталина. Но занавес сохранялся, и жесткая цензура сохранялась.

Случайно ли совпали по времени события в Чехословакии, рождение диссидентства в СССР, волнения в Польше — со студенческой революцией на Западе? И как влияли — и влияли ли — идеи протестных движений на Востоке и Западе Европы друг на друга? Понимали ли друг друга участники этих движений?

На эти вопросы я бы ответила так. Диссидентское движение в СССР имеет общие корни с событиями 1968 года на Западе, но родилось не под их влиянием. Мы почти ничего не знали об этих событиях. Единственное, что мы знали о происходящем за границами СССР, — это «Пражская весна». О ней мы знали с самого начала — с манифеста «Две тысячи слов», и следили за происходящим в Чехословакии с замиранием в сердце, как за собственным кровным делом. Мне к этому времени было 40 лет.

К 1968 году диссидентское движение уже, безусловно, существовало. Так что оно не было порождено пражскими событиями. Диссидентами становились в результате самостоя-

тельного осмысливания трагического опыта нашей страны на протяжении жизни наших родителей, наших дедов. Диссидентами стали те, кто смог в размышлениях над этим опытом выбраться из засасывающего болота официальной идеологии. Выбраться из него нам помог не опыт Запада, нам тогда неведомый, и не дореволюционный опыт нашей страны, потому что его мы тоже толком не знали. Ведь история тоже была переписана на советский лад!

Единственное, что у нас сохранилось в противовес официальной идеологии — это великая русская литература. Ведь все наши гении были на стороне маленького человека, которого давило безжалостное к нему могучее государство. И таким был наш путь к идее: не человек для государства, а государство для человека. Я разговаривала со многими своими сверстниками, участниками диссидентского движения. Они подтверждали, что сомнения и решения пришли из литературы, а не из чего-нибудь другого.

Когда я говорю, «мы, наш путь», я имею в виду не только диссидентов, но гораздо более широкую страту советского общества, давшую имя целому поколению. Я имею в виду шестидесятников.

Знаковым событием для большинства шестидесятников стал XX съезд партии. Но и для тех, кто помоложе, как для моих сверстников, именно 1956 год — год XX съезда — стал рубежом, когда в нашей стране люди смогли перейти от одиноких сомнений к обсуждению волновавших их вопросов — хотя бы в близком своем окружении.

Петербургский социолог Виктор Воронков подметил еще одно обстоятельство, которое способствовало началу этих обсуждений. В хрущевские времена мы постепенно стали перебираться из коммуналок пусть в убогие, но отдельные квартиры. И таким образом появилось хотя бы место для этих обсуждений. (При нашем климате ведь на улице долго не поговоришь, а в рестораны мы не ходили. Ресторанов не было и денег не было.) Отдельные квартиры создали площадки для этих обсуждений — знаменитые московские кухни.

Шестидесятники прошли периоды надежд, и периоды разочарований. Первый период надежд наступил сразу после XX

съезда, когда масса людей возвращалась из лагерей. Государственный террор против собственного народа был осужден с самого верха. Тогда многие порядочные люди вступали в партию, поверив, что именно она будет флагманом борьбы за очеловечивание режима. Но очень скоро после периода надежд наступило разочарование. Уже осенью 1956 года было подавлено восстание в Венгрии, затем Хрущев посетил художественную выставку в Манеже, и стало очевидно, что цензура сохраняется во всем своем великолепии.

И все-таки разговоры на кухнях то тут, то там претворялись в какие-то заметные извне результаты, в публичные акции. Например, Ясин Евгений Григорьевич вспоминает, что для него поворотным пунктом было публичное обсуждение в библиотеке Одессы романа Дудинцева «Не хлебом единым». Тогда обсуждения проходили в библиотеках, в институтах — везде, где найдутся какие-то места.

Спектакли театра «Современник». Боже мой, что делалось, когда поставили «Голый король»... Да, были публикации-прорывы в журнале «Новый мир». Появились любимые барды, песни которых тиражировали на магнитофонах.

Самое главное, кроме того, что я перечислила — Самиздат и зарубежные радиостанции, вещавшие на Советский Союз. Всё это подготовило общественную реакцию на аресты московских литераторов — Юлия Даниэля и Андрея Синявского. Речь шла о самом сокровенном для нас — о свободе слова. И тут уж не только друзья стали писать властям письма с протестами против преследований за художественные произведения... Письма властям — это был революционный шаг для советского общества, потому что от разговоров в дружеском кругу и молчания за его пределами решились перейти к открытому высказыванию своего мнения властям.

При этом у многих в то время была надежда, что они будут услышаны. Поэтому «эпистолярный жанр» обретал всеобщую популярность. Когда стали приходить вести из Чехословакии о «Пражской весне», энтузиазм относительно «социализма с человеческим лицом» в интеллигентской среде больших городов стал массовым явлением. Тогда советские люди почти все были социалистами, потому что ничего другого мы не знали.

Мы горячо желали успеха Дубчеку — в надежде, что если в Чехословакии получится, то со временем и у нас произойдет демократизация.

Советские танки в Праге раздавили и наши надежды. Мы перестали верить в возможность «социализма с человеческим лицом». Перестали верить в очеловечивание социализма. С августа 1968 года наступило тяжелое кризисное время. Снова произошло четкое разделение: кухня — это одно, а публичная жизнь — это совсем другое.

Тогда и определился окончательно круг диссидентов. Это были те, кто не вернулся на кухни.

Участились и ужесточились репрессии — среди нас не осталось сохранивших работу и прежний уровень жизнь.

Можно видеть, что у нас всё было не так, как на Западе. Всё было придавлено. Не было революции, не было массовых протестов. Но даже для самого скромного протеста требовалось мужество вплоть до самопожертвования.

У нас 1968 год тоже выделился из остальных повышенной гражданской активностью. В апреле 1968 года начала выходить знаменитая Хроника текущих событий. Летом 1968 года (еще перед Прагой) появились в Самиздате сахаровские «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

Этот всплеск правозащитного и диссидентского движения я связываю с воздействием на наше общество «Пражской весны». Но поскольку в отличие от Запада не произошло адаптации советского режима к запросам общества, именно советские диссиденты стали застрельщиками нового подъема гражданской активности для решения не решенной у нас проблемы изменения взаимоотношений между государством и гражданами. Я имею в виду реакцию в Советском Союзе на гуманитарные статьи Хельсинкских соглашений, подписанных 1 августа 1975 года.

Требования соблюдать гуманитарные статьи хельсинкских соглашений, которые выдвинули Юрий Федорович Орлов и созданная им Московская хельсинкская группа, были по существу заявкой правозащитников на такие же гражданские права для советских людей, какими обладают граждане демо-

кратических стран. И мы, когда делали эту заявку, обращались в первую очередь к общественности Запада, именно Запада. Мы надеялись, что она поддержит наше требование. Но в демократических странах Запада проблема их взаимоотношения с государством после 1968 года была решена, и наша неожиданная активность не вызвала немедленной практической поддержки. Нас поддержали те, для кого эта проблема была актуальной: национальные движения в советских республиках, в Украине, Литве, Грузии, Армении, а также диссиденты Польши и Чехословакии, где тоже события 1968 года не привели к желанному результату.

На Западе нас поддержал баллотировавшийся тогда в президенты Соединенных Штатов Джимми Картер. Он уловил настроения американцев, которые, по-видимому, созрели для более решительного следования тенденциям, наметившимся в бурном 1968 году. «Гвоздем программы» Картера было обещание строить дипломатические отношения со всеми странами в зависимости от соблюдения их властями прав человека. И американские избиратели поддержали это намерение. Оппонент Картера на следующих выборах — Рональд Рейган — высмеивал такую внешнюю политику, как донкихотскую, но, придя к власти, проводил ее все восемь лет.

Смотрите, 68-й, 88-й — а сейчас 2008 год, вроде бы надо двигаться дальше, а ничего нет... Так как я — неисправимый оптимист, то должна спросить: а вдруг всё только сейчас начинается — в этом 2008 году? Кажется опять американцы почували необходимость изменений в том же направлении, которое 60 лет назад было обозначено Всеобщей декларацией прав человека. В 2008-м выборы в США триумфально выиграл Барак Обама. «Мы это можем», — заявили американские избиратели.

Мы тоже кое-что можем. Во всяком случае, сейчас условия для корректировки взаимоотношений граждан с властью гораздо лучшие, чем были у шестидесятников и у авангардных диссидентов. По крайней мере, мы не отделены, как тогда, «железным занавесом» от всего мира. И если новое поколение не предлагает новых лозунгов, я думаю, ему ничего не остается, как бороться за те ценности, которые объявлены во

Всеобщей декларации прав человека, за государство для человека.

Продвижения этого кредо будет добиваться и нынешнее, и следующее поколение, и они довершат то, что не успели сделать поколения 60–80-х годов.

Алексей Берелович:

Общее между 1968 годом на Западе и на Востоке — надежда на другой социализм.

1968 год на востоке Европы и на западе Европы — это все — таки очень разные вещи. Даже на самом Западе, где, конечно, были и общие корни, и общие движения, были существенные различия между — скажем, Италией, Францией и Германией. А например, в США это было в основном студенческое движение в связи с войной во Вьетнаме. Во Франции это было студенческое движение, вдобавок мощнейшая всеобщая стачка, самая мощная во Франции за всю ее историю и глубокий политический кризис, который в Америке, насколько я помню, не наблюдался. 1968 год в восточной и западной Европе был, скорее всего, хронологическим совпадением разных по своей природе движений. Глубоких общих корней я не вижу. Может быть, есть где-то очень далеко что-то общее, но, во всяком случае, конкретно исторической связи не было.

Да, действительно, я принадлежу к поколению 1968 года, но, скорее всего, косвенно. В каком смысле? В том, что я не принадлежу к «детям 1968 года». Я придерживался тогда некоторых убеждений, которые не были — мягко говоря — характерны для 1968 года, потому что я был тогда членом компартии вполне ортодоксальным — не совсем ортодоксальным, но почти. Поэтому я не пережил эти события, как студент из Сорбонны, который думал, что он сейчас делает революцию. А был убежден, что никакой революции нет, в чем, как мне кажется и сейчас, — я был прав.

Что же произошло? Мне кажется, что если остановиться на студенческом движении, с которого все и началось, — это было двойное движение. Точнее, это было одно движение с

двумя составляющими. Одна составляющая — это совершенно очевидное, оставшееся впоследствии в памяти людей, желание выйти из достаточно устарелого, закостеневшего, очень иерархического французского общества 50-х годов, которое еще сильно походило на общество Третьей республики (до Второй мировой войны).

Можно сказать, что это был выход из послевоенного времени, разрыв, произведенный первым послевоенным поколением. И еще тот культурный разрыв, благодаря которому можно ходить без галстука, можно говорить на «ты» коллегам и т.д. Изменения в стиле и в образе жизни были очень сильны — они и сохранились.

Но была другая составляющая, которая содержала, мне кажется, заряд архаичный, если так можно сказать. То есть в движении 1968-го была не только воля к модернизации, но и некоторый страх перед либеральной модернизацией, которая тогда происходила. Этот утопический заряд 1968 года принял формы возврата к природе, отказа от карьеры, некоторый эскапизм: перебраться в деревню, пасти овец или коз; создавать «коммюнити» (типа общин), чтобы выйти из узкой семьи, чтобы создать какие-то новые формы существования. Все эти поиски имели во время 1968 года и после в основном радикально-левую окраску, левее Французской компартии. Идеи, поиски, чаяния тех лет оставили глубокий след во французском — и не только французском — обществе: можно сказать несколько огрубляя, что и феминизм, и зеленое движение, и нынешний гедонизм («я имею право на наслаждение здесь и сейчас») — все это «дети 1968 года».

На этом основании (хотя исторически, повторяю, нет общего) можно все-таки найти нечто общее между 1968 годом на Западе и на Востоке. Это общее — некое желание найти какие-то революционные ходы помимо существующей советской системы — надежда на другой социализм. В Чехословакии это был «социализм с человеческим лицом», но политически говоря, просто демократический социализм. Разгром этого движения тогда не позволил нам узнать, возможен ли он, и полу-неудача Перестройки в 1988 году, опять-таки не позволила проверить, может ли такое существовать. Единственное,

что могу констатировать, как историк: вплоть до сегодняшнего дня такой социализм никогда и нигде не существовал.

Но мне кажется, что эти два момента — мощные попытки с утопическим зарядом выйти из того, что существует, выйти из тех политических систем, которые существовали и на Западе, и на Востоке — это были очень важные моменты свободы. То есть это были моменты в истории, когда «люди чувствуют, что они свободны, что они делают историю».

Все, кто вспоминает 1968 год, и все, кто вспоминает Перестройку, — все помнят эти моменты свободы, исключительно значимые для тех, кто их пережил. Мы ощущаем тогда, что будущее открыто. Потом оно достаточно быстро, как мы знаем, закрывается.

Ныне, мне кажется, последние отблески этих надежд кончились, т.е. в 2008 году эта утопия кончилась. Трудность нынешнего положения, мне кажется, в том, что, как мы это видим, наблюдая состояние левых сил в Италии, во Франции и в других странах — это невозможность, трудность найти новые идеи, которые помогли бы вновь искать альтернативы существующей системе. Это, конечно, задача уже не моего поколения, а следующих поколений, и это задача надолго.

Александр Даниэль

Я с большим интересом слушал выступление Алексея Береловича, при этом вспоминая письмо, которое я получил вчера по электронной почте в связи с этим Круглым столом. Это письмо человека, который был деятелем студенческих выступлений 68-го в Париже. Ему тогда было 18–19... И он не изменился. Сейчас он рассылает письма активным деятелям 68-го с призывом писать историю 68-го, потому что, как он пишет, ее невозможно доверить ревизионистам и предателям дела революции, как Дени (Dany, уменьшительное от Daniel — имеется в виду Кон-Бендит), который стал центристом и «зеленым», — презрительно пишет он. «А Ульрики Майнхоф уже нет, а Карлос Ильич Рамирес сидит в тюрьме.»

Троцкистов он обличает за то, что они остановили революцию в мае и т.д. Такие робкие консервативные троцкисты

тормозили эту революцию... В общем, Вы, Алексей, вероятно, являетесь представителем этих ревизионистов и «тормозов» революции.

Алексей Берелович

Если Вас интересует тогдашний расклад сил, то можно сказать следующее. Тогда, что очень важно — для коммунистического движения очень важно — Французская компартия во Франции была «партией порядка», так как она не хотела революции реально, и она считала, что это не революционное положение. Она старалась всеми своими силами погасить студенческое движение. Вдобавок она считала, что оно (движение) совершенно не ортодоксально, поскольку революция не может начинаться со студентов. Известно, что она «начинается с пролетариата», а пролетариат совершенно не собирался делать революцию. Поэтому компартия была против революционной составляющей студенческого движения. Значит, Компартия начинает путь именно «партии порядка», левее которой «настоящие революционеры». Но парадокс еще в том, что большинство тогда зарождавшихся левацких групп тоже были против этого движения, потому что они тоже были за пролетарскую революцию. Поэтому студенты их совершенно не устраивали. Троцкисты более активно участвовали, но тоже несколько сдержанно (опять-таки потому, что всё было «не ортодоксально»). И поэтому самыми активными были не организованные левые, а масса людей, которые тогда, (как во время Перестройки в СССР), по ходу событий открывали возможность политических действий.

Я тогда был, в тогдашнем жаргоне «сталинистом». Так обозначились в тогдашней лексике люди, которые принадлежали компартии. Поэтому я уже тогда изначально был для автора Вашего письма «плохим» в отличие от тех, которых он обличает и которые стали плохими позже.

А насчет написания истории, мне кажется, что каждые десять лет — во Франции, во всяком случае — выходит по сотне книг о 1968 годе, потому что все эти участники люди очень пишущие, и поэтому литература о 1968-м совершенно необъятная.

Ральф Фюкс:

1968-й стал толчком к модернизации.

Хотел бы кратко отреагировать на дискуссию из «перспективы актера», что называется. Я думаю, что диалектическая шутка 68-го на Западе, которую я хотел бы напомнить, состоит в том, что это было, действительно, революционное движение в смысле глубоких изменений, которые оно вызвало, — но совсем по-иному, чем большинство тогдашних действующих лиц, это себе представляло.

Действительно, радикальная часть студенческого движения 1968 года, к которым я тоже тогда присоединился, были приверженцами марксистской, социалистической идеи. То есть антикапиталистическое движение питали своими фантазиями так называемые идеи революции. Но это не означает, что это движение полностью рухнуло и не оказало воздействия на историю. То, что оно действительно вызвало к жизни, — это была своего рода культурная революция. Она функционировала как большое движение, которое придало новую суть западному обществу. В ходе ее западное общество стало демократическим, оно открылось, в том числе и в отношении демократического участия в принятии решений, вне парламентов возникла общественность такого же рода. Отношение между полами совершенно изменилось тогда. Воспитание детей — тоже изменилось (детей стали воспринимать субъектами, которые имеют собственные права). В нашем обществе произошел «либеральный толчок», который подготовил почву для нового этапа развития капитализма.

Мы не отменили капитализм, но мы его модернизировали. И мы перевели стрелки на то, что называется сегодня «обществом знаний». В результате произошли огромные изменения в области системы образования. Миллионы молодых людей вступили в эту новую систему и совершенно новые слои населения вышли на поверхность.

Я думаю, что это важно потому, что 1968 год — действительно был исходным моментом для нового развития событий на Западе и на Востоке. Они разошлись в Западной Европе и в Америке, но 1968 год стал толчком к модернизации.

В то же время в Восточной Европе, в советских обществах, скорее, произошло нечто обратное. Это привело к большей стагнации, к застою. Оказалось, что политическим — социалистическим, коммунистическим — партиям не удалось принять или преобразовать эти импульсы. В этой связи 1968 год был уже началом конца советского господства в Восточной Европе, в то время как на Западе 1968 год был действительно настоящим толчком, который сделал эти общества более подготовленными к будущему, чем до событий 1968-го.

Есть ли здесь некий связующий элемент? Здесь я согласен с Алексеем Береловичем: 1968 год в Париже, Берлине, Праге — это был момент свободы. Это было чувство, что мы можем делать историю.

И если в 2008 году есть такой же элемент, этим уже многое сказано: выборы Обамы в Америке — это что-то большее, чем выбор нового президента. Это действительно некий общественный всплеск в головах миллионов людей, и миллионы людей оказались вовлечены в этот процесс.

Леонид Седов:

События 1968-го, 1988-го годов в их связи, полезно рассмотреть их в парадигме «революция пожирает своих детей».

Мне кажется, что как на Западе, так и на Востоке Европы, произошел бунт против поколения отцов, оставивших страшную память о войне и ужасах тоталитаризма. В общем виде можно говорить о том, что повсеместно пошел процесс расформирования социальных систем, высвобождения личности от уз устаревших социальных норм и правил жизни. Помнится, в семинаре Левады мы очень подробно и внимательно анализировали происходившие на Западе события, и пришли к выводу — в терминах тогда популярных в нашем кружке социологической теории Парсонса, — что происходит процесс дифференциации личностной подсистемы в системе социального действия.

Помню, что тогда, в ходе той дискуссии я употребил выражение «сексуальная революция». И надо сказать, что в совет-

ских идеологических сферах, почему-то именно это выражение вызвало реакцию как нечто наиболее крамольное. И участников семинара вызывали в 1-й отдел, допрашивали, кто сказал «сексуальная революция». Но меня не выдали, и допросы оказались безрезультатны.

Можно вспомнить также, что в специфической форме культурной революции бунт против старших пережил тогда и Китай. И надо сказать, что влияние китайской культурной революции очень даже сказалось на событиях в Западной Европе, где возник и известный культ Мао Цзэдуна, Че Гевары и т.д.

У нас в этом смысле с молодежными движениями на Западе вряд ли был тогда общий язык, потому что студенческая молодежь в Западной Европе бунтовала против общества потребления. В Советском Союзе с его тотальным дефицитом вообще говорить на языке борьбы против общества потребления было дико и невероятно. Речь шла о прямо противоположном — о нормальном потреблении. Начиная еще с 50-х годов, со стиляг, допустим, ставилась как раз во главу угла идея налаживания какого-то правильного потребления, каких-то западных образцов в этом смысле.

Можно вспомнить и о том, что огромное влияние именно на тогдашние идеи в России оказал, скажем, Окуджава, который воспел возвращение к идеалам частной жизни, так сказать, к нормальной жизни. То есть у нас язык был совершенно другой, чем на Западе.

Рассматривая сегодня события 1968-го, 1988-го годов в их связи, полезно, по-моему, рассмотреть их в парадигме «революция пожирает своих детей». Мне не раз приходилось выступать с тезисом о существовании некоторого периодического закона смены политических поколений с 17-летним циклом перемен. Так вот у меня есть наблюдение, что нашу историю XX века можно рассматривать в парадигме смен политических элит примерно с 17-летним, 20-летним циклом. Магического ничего нет в этих числах — но есть демографическое обстоятельство, состоящее в том, что пришедшее к власти молодое поколение взрослеет в течение этого периода, раскалывается и у него возникает желание произвести смену элиты.

Одна часть поколения, как правило, более молодая и менее удачно воспользовавшаяся предыдущей сменой власти, начинает сметать со сцены более удачливую часть. Так, в 1934–1937 годах ленинскую гвардию уничтожила сталинская. В 1956 году происходит вытеснение сталинистов умеренными антисталинистами («умеренными» в борьбе с культом личности). В 1968 году этому политическому классу приходится быть сметенным гораздо более радикальными противниками тоталитаризма, хотя и в этой части новой политической элиты сохранились социалистические, коммунистические идеалы, вера в «социализм с человеческим лицом», возврат к «чистому Ленину» и другие идеи такого рода. Противники тоталитаризма даже в их умеренном варианте не были допущены к власти — укоренившаяся во власти часть политической элиты с помощью танков одержала победу. Для проигравших это событие было личной трагедией. При этом радикальные антитоталитаристы только лишь укрепились в своем понимании советского режима как разновидности фашизма. Мне тогда пришлось написать самиздатовский памфлет «Логика танков», где как раз я утверждал эту идею.

Дальше мы можем прибавить к 1968 году 17 лет, и мы получим Перестройку. Исторической задачей власти этого нового политического поколения было смести со сцены элиту, утвердившуюся в период геронтократии.

Далее следуя этим путем, пользуясь этой схемой, мы увидим 2002 год — приход к власти путинской элиты и вытеснение «реформаторской» элиты 90-х годов. А впереди, согласно той же схеме, 2019 год, с которым я, например, связываю ожидание конца путинской элиты и утверждение новой элиты.

Павел Кудюкин:

Критическое отношение к существовавшему в СССР режиму и обществу не означало идеализации западного капитализма.

В 1968 году мне было 15 лет. И действительно это было время, которое пробудило к политическим интересам, к общественно-политической активности. Причем я принадлежу к

тому очевидному меньшинству тогдашней советской молодежи, для которой равно значимы были и «парижский май», и «пражская весна». Для нас критическое отношение к существовавшему в СССР режиму и обществу не означало идеализации западного капитализма.

Для нас 1968-й год в чем-то схож с 1970–1973 годами с революцией в Чили, с той же самой надеждой на иной, демократический социализм. За ней последовало не меньшее, может быть, разочарование, чем в августе 1968 года... Но тогда был постановлен вопрос, не был ли сам термин о «социализме с человеческим лицом» некоторым лукавством. Ведь, строго говоря, если у социализма нет «человеческого лица», тогда получается, как шутил один мой однокурсник, «крокодил с человеческим лицом». А если нет «человеческого лица», значит это не социализм, а социализм что-то иное, пока еще нигде не реализованное. ...

Поэтому кризис, в который входит современный мир, может быть, означает, как новые риски, так и новые возможности.

Ян Младек:

Конец «Пражской весны» был катастрофой для чешского общества.

Я представляю Академию Массарика, которая близка к чешской социал-демократии. Мне было восемь лет во время «Пражской весны», и у меня нет личных ни позитивных, ни негативных воспоминаний об этом.

В Чехии было много разговоров про 1968 год. Нет никакого консенсуса в том, что касается политики. Что касается экономических реформ, есть почти консенсус: была проблема, которая не имела решения. То есть сделать реформу социализма, где нет частной собственности и где должна оставаться ведущая роль партии — это просто невозможно.

Я утверждаю, что в «Пражскую весну» хотели реформировать социализм и не хотели никакого вступления в НАТО. Реформаторы были честными коммунистами. Александр Дубчек

был «советским человеком», и первый язык, который он выучил, был русский (его отец работал в Киргизстане). И только потом Дубчек изучал словацкий. Но он был советским человеком, которому нравился «социализм с человеческим лицом», он не хотел сажать людей в тюрьму, и когда советское Политбюро требовало этого от него, он не выполнял свою задачу.

Конец «Пражской весны» был катастрофой для чешского общества. Прежде всего, мы потеряли самых способных людей, которые эмигрировали, сталинисты выгнали полмиллиона людей из Компартии — самых умных — и заставили их заниматься физическим трудом!

Советский Союз уничтожил одну из самых больших компартий в социалистическом блоке — Чехословацкую Компартию. Огромный ущерб был нанесен чешско-русским отношениям, которые до 21 августа 1968 года были очень хорошими. К сожалению, они не восстановились до сих пор...

Могу утверждать, что вводом войск в Чехословакию, Советский Союз начал собственный развал. Потому что Советский Союз потерял то, чего сейчас теряют американцы — мягкую силу (*soft power*). С этого времени началось и падение коммунистических партий в Западной Европе. После Праги уже трудно было влиять на них, привлекать их к сотрудничеству с Москвой, потому что для них оккупация Праги была неприемлемой.

Борис Славин:

Не исчезает потребность в свободном обществе, включающем наемное рабство, социально-экономическое, нравственное и духовное отчуждение.

Я думаю, что идея подлинной свободы пробудилась именно тогда, когда заговорили о «социализме с человеческим лицом». В нем нашли свое отражение идеи XX съезда партии в Советском союзе, практика самоуправления в Югославии, социальные достижения западной социал-демократии. В итоге пражским реформаторам удалось существенно демократизировать общество, ослабить цензурные рамки, добиться

ся политического и идеологического плюрализма в общественной жизни, начать разработку рыночной реформы.

Все это не могло не напугать руководство КПСС, тяготевшее к неосталинизму, и руководителей компартий Восточной Европы, боявшихся потерять власть в ходе повторения «Пражской весны» в их странах. В итоге чехословацкий народ получили танки стран Варшавского договора на улицах Праги, а гуманистическое и демократическое обновление реального социализма задержалось на двадцать лет.

По «мистической» закономерности истории события «Пражской весны» 1968 года совпали с майскими событиями 1968 года. Начавшись по инициативе студентов в Нантере близ Парижа, они затем перекинулись на всю страну. Студентов поддержали рабочие, начавшие общенациональную забастовку, в которой приняло участие более десяти миллионов человек.

Что же хотели французские студенты и рабочие в 1968 году? По сути дела того же, что и трудящиеся Чехословакии — свободы, гуманизма, ликвидации бюрократического устройства общества. Вот лишь несколько лозунгов тех времен, подтверждающих эти требования: «Запрещать запрещено» «Скука контрреволюционна». «Вся власть воображению!» «Будьте реалистами, требуйте невозможного! (Че Гевара). «Не торгуйтесь с боссами! Упраздните их!». «Ты нужен шефу, а он тебе нет». «Рабочий! Тебе 25 лет, но твой профсоюз из прошлого века!». «Твоё счастье купили. Укради его!» и др. Как мы видим, попытки сугубо культурологической или эстетической интерпретации майских событий во Франции (эдакий «майский хэппенинг»), не соответствуют действительности.

Как известно, майские события закончились отставкой Де Голля, избранием нового парламента и президента, но социально — политическая система осталась прежней. Количество «запретов» не только не уменьшилось, но даже увеличилось, стало больше бюрократии и различных «страхов», порожденных глобализацией, социальными и национальными антагонизмами.

Вместе с тем потребность в свободном обществе, исключаящем наемное рабство, социально-экономическое, нравст-

венное и духовное отчуждение, — не исчезает. Она проявилась в Советском Союзе, двадцать лет спустя после весенних событий в Праге и Париже. Я имею в виду, конечно, Перестройку, которая на третьем году своего существования (1988 г.) провозгласила программу перехода к «гуманному демократическому социализму».

Многие противники, да и некоторые «друзья» Перестройки считают ее неудавшимся экспериментом. По их логике ее поражение было закономерно, ибо система реального социализма, которую они пытались реформировать, была не реформируема, в принципе. Но историю делают люди, и нет таких социальных систем, которые нельзя было бы изменить, или реформировать. На самом деле, Перестройка была достаточно успешным процессом изменения изжившей себя модели советского общества. В этом смысле она является своеобразной анти-тоталитарной революцией.

Достаточно сказать, что за годы Перестройки начались социально ориентированные рыночные преобразования, стало развиваться самоуправление в трудовых коллективах, в социальной сфере повышались зарплаты и пособия, развивалось жилищное строительство. Но особенно много было сделано в политической и духовной сферах общества. Начали реализовываться политические права граждан, были проведены альтернативные парламентские выборы, прошел всенародный референдум о будущем Союза, появились первые ростки многопартийности, большими тиражами выходила оппозиционная пресса, быстро менялось телевидение. Именно в годы Перестройки произошла отмена цензуры, граждане начали свободно выезжать за границу. Во внешней политике реформаторам удалось покончить с «холодной войной», начать разрушение и реально отодвинуть угрозу атомного Апокалипсиса. Все это полностью опровергает голословные суждения о «безуспешности» перестроечного эксперимента», о принципиальной нерформируемости советского общества и бесперспективности социализма как возможной модели будущего.

Возражая тем, кто утверждает, что нет реального примера существования «социализма с человеческим лицом», я отвечаю: а куда вы денете «Пражскую весну» в Чехословакии и

семь лет Перестройки в Советском Союзе? Разве они не доказывают реальность движения к гуманному и демократическому социализму? Поскольку бюрократический социализм и капитализм с «нечеловеческим лицом», не принимает абсолютное большинство людей, остается только «третий путь» — создание «социализма с человеческим лицом».

Татьяна Ворожейкина:

1968 год был высшей точкой подъема антикапиталистического освободительного движения. Конец 80-х обозначил конец левой идеи.

На мой взгляд, в нашей дискуссии, есть одно существенное упущение. Не только не упомянуты по сути, но и отсутствуют в подтексте обсуждения очень важный ареал 1968 года, — Латинская Америка.

В 1968 году в Мексике началось мощное студенческое движение против авторитарного режима, которое затем охватило интеллигенцию, средние слои, и вобрало в себя часть рабочего движения.

3 октября 1968 года на площади Трех культур в Мехико была расстреляна студенческая демонстрация. По официальным данным, погибло 120 или 130 человек. На самом деле, речь идет о нескольких сотнях. Это событие произошло ровно за две недели до открытия Олимпийских игр в Мехико. И я должна сказать с горечью, что Запад тогда это проглотил. Церемония открытия Олимпийских игр «на крови» прошла абсолютно без всяких напоминаний о том, что произошло в этой стране. А это, повторюсь, было несколько сотен расстрелянных...

Вторая страна — это Бразилия, где 1968 год отмечен всплеском массового движения против авторитаризма. Я об этом напоминаю, потому что вот то, о чем здесь говорили многие выступающие, — ощущение свободы, и то, что сформулировал Ральф Фюкс, — чувство протагониста, которое было распространено на Западе, — это чувство не ограничивалось Западной Европой и США.

Действительно, общий знаменатель всех движений в Восточной Европе, в Западной Европе, в Латинской Америке — то, что это были левые движения, хотя практически нигде коммунисты в них не участвовали.

Хочу напомнить еще об одном. В 1969 году произошло совещание коммунистических и рабочих партий, которое должно было, в общем-то, одобрить вторжение советских войск в Чехословакию. Помимо известной позиции Итальянской и Французской компартий была совершенно неизвестная позиция Мексиканской коммунистической партии, которая открыто выступила против вторжения, чем сильно и на долгие годы испортила отношения с советским центром.

С моей точки зрения, 1968 год был высшей точкой подъема именно антикапиталистического освободительного движения. Конец 80-х обозначил конец левой идеи и левого потенциала, как потенциала мобилизации.

Вадим Межуев:

Ни социализм советского образца, ни рыночный капитализм не могут служить надежной гарантией будущего развития.

Никто из выступавших, как мне показалось, пока еще так и не выявил связи между 1968 г. и двумя последующими датами. Российские докладчики старшего поколения ограничились личными воспоминаниями о событиях того времени, не добавив к их пониманию ничего нового. О восстании парижских студентов, повлекшем за собой огромные изменения в общественном сознании Запада, они либо мало знают, либо не очень им интересуются. Что касается более молодых, то история для них начинается, видимо, со дня их рождения. Например, А. Архангельский признался, что не может читать Маркузе (один из видных идеологов, наряду с Сартром, студенческого движения того времени): не тот язык, на котором он привык говорить, не те идеи (понятно, ведь они левые), которые ему близки. Возможно, он считает, что проблемы, волновавшие тогда людей, ничего не значат для его поколения, но в этом и надо разобраться в первую очередь.

Напомню, что 1968 год протекал в обстановке разгара «холодной войны» между двумя общественными системами, во всем противостоящими друг другу, выходящими далеко за рамки одного государства и претендовавшими на мировое лидерство. Каждая из них считала, что будущее за нею, была убеждена в своей исторической правоте. Ни одна из них не сомневалась в прочности и долговечности защищаемого ею порядка. Именно сознание устойчивости этого порядка и рухнуло в 1968-м — он стал годом глубокого кризиса обеих систем, заставив усомниться в их незыблемости.

Первый кризис получил название «Пражской весны», бросившей вызов всему социалистическому лагерю, второй дал о себе знать в студенческой революции в Париже, поколебавшей устои сложившегося к тому времени капиталистического общества. Если чешские реформаторы хотели придать социализму «человеческое лицо», повернуть его в сторону демократии и рынка, то парижские студенты восстали против бесчеловечности, как они считали, буржуазного общества. В то время, как студенческая молодежь и многие интеллектуалы на Западе резко качнулись влево, деятели «Пражской весны» явно склонялись к тому, что на языке того времени называлось правым оппортунизмом. Но в обоих случаях речь шла не о замене одной системы на другую, а о движении каждой из них в сторону большей свободы.

Хотя те и другие потерпели поражение (чешская весна была подавлена танками, студенческий бунт задохнулся в последовавшей вслед за ним серии бессмысленных террористических актов), именно эти события сделали очевидным, что ни социализм советского образца, ни рыночный капитализм не являют собой образец подлинно свободного и демократического общества, не могут служить надежной гарантией будущего развития.

Разумеется, интеллектуалы из двух противоположных лагерей по-разному реагировали на события 1968 г. (я имею в виду именно интеллектуалов, а не официальных идеологов). Но в любом случае их отношение к существовавшей в их странах системе (при всей полярности этих систем) обрело резко негативный, критический характер, что подтверждается, в ча-

ственности, последующей эволюцией социального знания. На Западе оно обрело форму уже не социологического позитивизма с его абстрактно-теоретическими схемами и построениями (в духе Парсонса), а мышления, более чуткого к историческим переменам и изменениям. Это привело в итоге к возникновению постструктурализма и постмодернизма, наряду с поднявшейся волной неомарксизма. Советские же интеллектуалы маскировали свое неприятие «реального социализма» обратным образом — обращением к западной социологии, причем в первую очередь англо-американской, с целью противопоставления ее марксизму, историческому материализму, «научному коммунизму». Первые хотели поколебать здание рационально выстроенной социологической теории общества путем обращения к глубинным структурам исторического и человеческого бытия, вторые стремились противопоставить историческому оптимизму социалистической идеологии, базирующемуся на чистой вере, строго рациональное знание. Этот сюжет далек, конечно, от нашего разговора, но он позволяет понять всю глубину сдвига, происшедшего в общественном сознании и социальной науке под влиянием событий. Не будь их, А. Архангельский до сих пор говорил бы языком «советской прозы», а книги Маркузе воспринимались бы им как откровение свыше.

Последовавший после разгрома «Пражской весны» период застоя в нашей стране был вызван, прежде всего, страхом власти перед возможностью повторения в том или ином варианте чешских событий. Если капитализм за тот же период пережил бурную трансформацию, превратившись из общества индустриального в общество постиндустриальное и информационное, то социализм буксовал на месте, все более костенея в своем неприятии любого проявления свободной мысли. В итоге вера в возможность обновления социализма сменилась в мыслящей части общества разочарованием в самой идее социализма. Застой разрушил эту веру до конца. В этом причина того, что Перестройка, стартовавшая во второй половине 80-ых, так быстро сошла с дистанции. Она, если учитывать настроения этой части, пришла слишком поздно. Наиболее социально активные представители творческой и научной интеллигенции, вышедшие тогда на политическую сцену, хотели уже

не обновления социализма (в духе «Пражской весны»), а его смерти. Поддержав Горбачева в начале его правления, они потому и предпочли ему затем Ельцина, что посчитали его более подходящей фигурой на роль «могильщика социализма». В то время их невозможно было убедить в ошибочности такого выбора, повлекшего за собой все последующее. Только сегодня, глядя назад, многие из них начинают осознавать, что Ельцин с его антикоммунизмом был человеком прошлого в значительно большей мере, чем Горбачев с его социалистическими убеждениями.

Если Горбачев хотел десталинизации социализма, хорошо понимая, что большая часть народа ни социально, ни психологически еще не доросла до полного принятия капитализма, то Ельцин, учинив погром социализму, привел страну к состоянию, оживившему в душах людей самое худшее, что было при социализме — призрак сталинизма, но уже без всякого социализма. Я и сейчас думаю, что единственно возможным политическим выбором власти в то время был выбор не между социализмом и капитализмом, а между социализмом и сталинизмом в пользу, как предлагал Сахаров, конвергенции двух систем, сохраняющей то лучшее, что было в каждой из них. К полной и мгновенной смене ориентиров народ, выросший при советской власти, к тому времени (как, думаю, и сейчас) не был готов. Подтверждением тому служит простой факт: с концом социализма население России не вспылало любовью к капиталистическому Западу, а в своей значительной части затосковало по сталинским временам. Ведь не кто-то один поставил Сталина на третье место в выборе подходящего для России имени. А не лучше ли было на первых порах осуществлять переход к рынку и демократии при сохранении хотя бы видимости верности социалистическому выбору, более понятному и привычному для большинства населения страны? Предпочли, однако, путь радикального слома всего, что связывалось в сознании людей с социализмом, причем не только с его негативной, но и позитивной составляющей, которая не отрицалась даже на Западе.

Для чего антикоммунизм понадобился Ельцину, понятно, — для прихода к власти (до этого ничто в его биографии не

указывает на подобные настроения), но понимали ли тогда сами демократы, что отказ от прежней веры будет положительно воспринят населением только при условии качественного улучшения их жизни?

Полный разрыв со старой верой оправдан при наличии уже сложившихся новых структур. В ином случае он является разрывом лишь на словах, а на деле ведет к реставрации старых порядков, пусть и в ином словесном облики. Да, в ходе Перестройки не удалось сразу же перейти к рынку (как известно, она длилась всего три года), но рынок, возникший при Ельцине, превратился в систему повальной коррупции и воровства, обогатившую тех, кто оказался близок к власти, и поставившую большинство населения на грань нищеты. Такого разрыва между богатством и бедностью после веков Средневековья не знает ни одно современное капиталистическое общество. Да и с демократией было не все в порядке. Ельцин не преследовал журналистов, это верно, но и не считал их своими политическими оппонентами, не очень прислушивался к их мнению. Те же, кто стали для него реальной оппозицией, расплатились за это 1993 годом, откуда, собственно, и начинается новый виток авторитаризма.

Собственный вклад Ельцина в политическую историю России состоял лишь в создании новой русской династии — династии преемников. На его совести и развал СССР, совершенный им не по воле народов (за исключением, возможно, только народов Прибалтики), а по воле тех, кто рвался к власти в бывших республиках. Развал страны и был главной миной, заложенной Ельциным и его окружением под власть Горбачева, ибо после распада страны Горбачев как ее первый Президент, естественно, не мог оставаться у власти. Ничем другим, как мне кажется, они не руководствовались, подписывая Беловежские соглашения. Правда, еще остается вопрос, можно ли было сохранить СССР при полном отказе от всего социалистического и советского — этих двух «С» в аббревиатуре СССР, скреплявших собой Союз Республик? На каких еще соединительных звеньях этот Союз мог держаться? Развал Союза целиком на совести тех, кто объявил войну всему социалистическому.

Но как случилось, что антикоммунист Ельцин привел Россию не к демократии и капитализму, а почти что к феодализму, возродив самовластие и клан олигархов? Его так и называли — «царем Борисом», видя в нем чуть ли не монарха, правящего страной посредством раздачи жирных кусков госсобственности тем, кто поддерживал его неограниченную власть. Берите, хватайте, но только повинуйтесь. Не удивительно, что раздача пряников должна была рано или поздно смениться кнутом, называемым вертикалью власти.

Сегодня политический либерализм отрицается многими с той же неистовостью, с какой отрицался социализм во времена Ельцина. И демократы должны, наконец, понять прямую связь между этими двумя отрицаниями. 2008 г., я думаю, войдет в нашу историю как радикальный отказ не от ельцинского периода, а от того, что сохранялось в нем от 1988 года — что было начато Перестройкой. Во всем остальном он прямое продолжение ельцинизма. Нельзя не увидеть прямой параллели между танками на улицах Праги, покончившими с «Пражской весной» и возвестившими о начале Брежневского застоя, и тем, что происходит сегодня и что впервые дало о себе знать в годы правления Ельцина. Первые симптомы нарождающегося авторитаризма появились именно тогда. Насаждая капитализм сверху, чуть ли не принудительными средствами, реформаторы ельцинского призыва даже не скрывали своей готовности пойти ради этого на определенные уступки в пользу персоналистской и авторитарной власти. Сегодня эти уступки обернулись отступлением от принципов демократии по всему фронту. Остается лишь надеяться, что за любым отрицанием следует отрицание отрицания.

Честно говоря, я никогда не считал истинными демократами тех, кто когда-то отказал Горбачеву в доверии. Многие, поддержав Ельцина, были не просто слепы, но и корыстны в своем желании власти, званий и чинов, известности и популярности, а то и личного обогащения. Среди тех, кто поучал когда-то страну по части любви к Ельцину, есть и такие, кто горюет сегодня об утрате Россией имперского величия, призывает к насаждению в ней единомыслия и единоначалия, считает свободу и демократию «не русскими ценностями». Другие,

конечно, поумнели, отдают себе отчет в том, что реально произошло и чему они сами, вольно или невольно, способствовали, но не понимают, что делать дальше. Но тот, кто и сегодня считает себя демократом, должен, наконец, перестать вбивать клинья между либералами и социал-демократами, должен понять, что есть более серьезный противник — ультранационалисты и все те, кто мечтает о возрождении в России империи и единоличной формы правления. Окажись они у власти, не поздоровится ни правым, ни левым демократам. Мечтать об империи, возглавляемой каким-нибудь новоявленным «великим кормчим», конечно, никому не запретишь, но нельзя забывать, что именно подобные мечтания привели в XX веке Германию к фашизму, а нашу страну — к сталинизму.

Татьяна Ворожейкина:

В 1988 году начинается осуществление политической реформы, то есть закладываются основы того процесса, который за два года полностью изменил страну.

1988-й год был действительно переломным в нашем российском, советском развитии. Один из таких переломов заключался в следующем. Если в 85–87-м годах Михаил Сергеевич Горбачев и достаточно узкий круг его сподвижников были, по сути дела, единственной движущей силой Перестройки, то именно в 88-м году происходит, на мой взгляд, пробуждение общества. Именно в 88-м году число сил и акторов, претендующих на самостоятельную роль (подчеркну это — самостоятельную роль) в процессе Перестройки, начинает стремительно расти.

В 1988 году по решению сверху начинается осуществление политической реформы, то есть закладываются основы того процесса, который за эти два года — 88–89-й — полностью изменил страну.

Хочу напомнить, что таким важнейшим знаковым событием была в этом смысле XIX партийная конференция — то, что происходит на ней, и то, что происходит вокруг нее. В своих воспоминаниях А.С.Черняев пишет, что эта действительно историческая конференция «дала по морде и прессе, и интелли-

генции», то есть тем, кто опрометью бросился в Перестройку и без кого она ни началась бы и ни продвинулась вперед. Отчасти это верно. Но мне кажется, что такая отрицательная оценка конференции в воспоминаниях как Анатолия Сергеевича Черняева, так и, скажем, Александра Николаевича Яковлева не вполне верна. Мне кажется, что наиболее важен был сам факт публичной дискуссии в партии, состоявшейся впервые и впервые же ставшей достоянием общественного мнения. Прямая трансляция заседаний сняла с власти покров тайны, всегда составлявшей ее суть, поскольку тайна — это главный ресурс манипуляции общественным мнением.

Михаил Сергеевич Горбачев, последовательно раздвигавший рамки гласности и считавший ее своим союзником, сам стал объектом беспощадного прямого эфира, выявившего, на мой взгляд, его сильные и его слабые стороны. И, конечно, поворотным пунктом этой развилки является 89-й год. Именно в 89-м году терпит, на мой взгляд, поражение то, что единственно могло бы вывести страну за пределы траектории предшествующего развития — на развитие новое, демократическое, не только в политическом смысле, но и с точки зрения включения общества как решающей силы, определяющей те или иные исходы.

Я имею в виду наметившийся в предыдущие годы и не состоявшийся в 89-м году союз между реформаторской частью партийной номенклатуры и демократическим лагерем, который складывается к тому времени. В этом смысле Первый съезд народных депутатов, — очевидно для всех и публично, поскольку он также транслировался в прямом эфире, — обозначил раскол между Горбачевым и демократическими силами, представленными на съезде Межрегиональной депутатской группой.

Поэтому закономерен и важен вопрос: в чем причины этого раскола? В чем его причина и был ли он неизбежен? На мой взгляд, общие причины раскола коренились в стремительно нараставшем несоответствии глубины происходящих общественных сдвигов и субъективного восприятия этих изменений теми, кто их осуществлял.

С моей точки зрения, в 87–88-м годах Михаил Сергеевич Горбачев потратил массу сил для того чтобы пробудить энергию народа в поддержку Перестройки. Когда эта энергия наконец пробудилась в 89-м году, Горбачев как лидер страны и партии оказался ни психологически, ни политически не готов иметь дело с самостоятельной инициативой, которая впервые была явлена на Первом съезде народных депутатов.

Как я это понимаю, Михаил Сергеевич искренне считал (это видно по его воспоминаниям), что демократическое движение должно было быть движением в поддержку Перестройки. Оно не воспринималось как самостоятельная политическая сила. Между тем, 88-й и в особенности 89-й год были отмечены тем, что произошло становление самостоятельной общественной, демократической, политической силы, прежде всего, в крупных городах и, в первую очередь, в Москве и Ленинграде. На мой взгляд, это стало главным итогом первых свободных выборов.

Вместе с тем демократические депутаты съезда явно переоценили в 89-м году свое влияние в стране. Большинство из них проживало за пределами Москвы, Ленинграда и нескольких других крупных центров. Настроения этого большинства все больше определялись ухудшившимся экономическим положением, которое воспринималось как главный и отрицательный результат Перестройки. В этом смысле, я думаю, что Горбачев, действительно, вынужден был прислушиваться к консервативной части съезда. В результате съезд, который, по замыслам руководства страны и, прежде всего, самого Михаила Сергеевича Горбачева, должен был ускорить и углубить процесс демократического обновления и положить начало (об этом тогда прямо не говорилось, но фактически это было ясно) передаче власти от партии к Советам, не оправдал ничьих ожиданий. С одной стороны, как мне это представляется, увидев угрозу в позиции радикальных демократов, Горбачев с осени 89-го года начинает все больше, если не склоняться к союзу с консервативной частью номенклатуры, то прислушиваться к их аргументациям.

С другой стороны, демократы — и, на мой взгляд, это роковая проблема и тоже проблема субъективного выбора, —

разочарованные маневрами руководства и, прежде всего, Горбачева на съезде, идут на объединение с Ельциным. В этом союзе они занимают все более и более подчиненное положение, в то время как на первый план начинает выходить быстро переориентировавшаяся на Ельцина часть номенклатуры. Почему это произошло? Почему союз реформаторской части номенклатуры с демократическим общественным движением оказался столь непрочным? И почему потенциал этого движения (что еще более важный вопрос) не был использован для создания новых демократических институтов?

На мой взгляд, важнейшая причина этого заключалась в инструментальном отношении к демократическому движению со стороны, как Горбачева, так и радикальных демократов. Ни для тех, ни для других это движение не представляло самостоятельной ценности.

Как я уже сказала, Михаил Сергеевич относился к этому движению как к силе поддержки. Лидеры же демократического лагеря рассматривали его как средство давления в их борьбе за доступ к рычагам власти. Политическую сферу (и это показали последующие события потом уже 91–93-го годов) они рассматривали, прежде всего, как сферу управления, а не участия. Демократам, если говорить прямо, важно было придти к тем рычагам власти, которые существовали в советской системе для того чтобы осуществлять рыночный проект, который, по сути дела, ими воспринимался как со-институт проекта демократического. И фигура Ельцина, который становится в 89–90-м годах лидером демократического лагеря, весьма символична для этого спрямленного и очень упрощенного проекта.

В результате происходит растрата впустую колоссально-го, на мой взгляд, потенциала демократического движения 88–89-го годов. Выборы 89–90-го годов положили начало культуре участия, пусть очень слабой. Но очень быстро это новая политическая культура оказалась жертвой, с одной стороны, популистского персонализма Ельцина, а с другой стороны, того, что виделось как союз Горбачева с консервативной частью номенклатуры, направленный против усиления Ельцина.

На мой взгляд, вариант демократической трансформации советской системы, который бы опирался на союз реформаторской части номенклатуры и демократического движения, был вполне вероятен. То, что он не состоялся, связано не с историческим предопределением, не с отсутствием или слабостью демократического движения (хотя, несомненно, оно было слабым, тут можно привести массу аргументов), а с субъективной недостаточностью лидеров как реформаторской части номенклатуры, так и демократического движения.

Дело было в том, что логика сиюминутной политической целесообразности заставляла обе стороны использовать, в общем-то, советские средства политической борьбы, лишая тем самым возникавшие политические институты сколько-нибудь долговременной политической перспективы.

Вместе с тем важно сказать и о том, что можно было бы назвать объективными границами субъективного политического выбора. Почему те или иные лидеры и люди вели себя так, как вели, и какой в этом смысл? Потому что, повторюсь, момент был ключевой. Мне кажется, что добрая воля и добрые намерения Горбачева, его стремление решать сложнейшие политические, экономические, национальные проблемы путем согласования интересов, путем поиска консенсуса, совершенно очевидно противоречили и противоречат до сих пор исторической традиции, доминирующей в стране.

Мы как страна гораздо более склонны решать проблемы сверху, разрубая гордиев узел. И в этом смысле Ельцин оказался гораздо более адекватен исторической традиции. Его решительность прекрасно вписывалась в эту традицию, усиливая тем самым зависимость страны от траектории предшествующего развития.

Я хочу оподчеркнуть то, что представлялось демократам слабостью Горбачева, — а именно стремление к компромиссу, — было с точки зрения исторической перспективы силой, потому что именно это и могло вывести страну на принципиально иной путь развития. То, что виделось силой Ельцина, — его решительность и провоцирование ситуации выбора, — оказалось слабостью, потому что это воспроизводило тот же самый тип взаимоотношений власти и общества.

Следует признать, что подлинное, хотя и нереализованное историческое обновление, — выход за пределы траектории предшествующего развития, за пределы исторической колеи, — в этом конфликте, конечно, представлял Горбачев, стремившийся создать конституционные механизмы, при которых отношения между социальными слоями и между людьми определяются не через кровопролитие, а через политику и право.

Важнейший урок этого периода (1988–1989) заключается в том, что без обновления социальных институтов, без возникновения разнообразных социальных интересов и учета этих интересов в политических движениях демократического обновления быть не может. В этом заключается послание 1988-го в 2008-й.

Именно в 2008 году происходят попытки структурировать оппозиционные силы как на условно правом фланге, так и на левом фланге. Я имею в виду Движение «Солидарность» и левый фронт, который складывается одновременно. Что мы видим? Мы видим, что на правом либеральном фланге — попытка создать чисто политическую либеральную силу, за которую соответствующим образом настроенные граждане будут вынуждены голосовать, потому что другой у них не будет. В этих маневрах власти нет не только социальной озабоченности, в них нет озабоченности плюрализмом социальных интересов, которые выявились в обществе за это время.

С другой стороны, на левом фланге мы видим лозунг: долой частную собственность. Я спрашиваю себя: почему в начале XXI века наша страна обречена строить партийную систему по модели XIX века? Почему не происходит усвоения тех уроков, которые видны не только в Европе, но и в Латинской Америке? Я провела два месяца в Бразилии, в Сан-Пауло, и вижу, как, несмотря на все изъяны тамошней политической системы, она отличается от нашей одной важнейшей характеристикой: она проницаема для тех разнообразных интересов движений и организаций, которые складываются в обществе, в том числе, и в социальных низах общества. Воздействия этих интересов не избегают ни либеральные, ни центристские, ни левые силы.

Михаил Горбачев:

Перестройка оборвалась, но свою роль она выполнила. Потому что назад мы уже никогда не вернемся.

Я ожидал, что выступление Татьяны Ворожейкиной будет интересным. Придется ответить.

Конечно, толчки, которые мы ощутили в конце XX и начале XXI веков, идут из начального периода Октябрьской революции, когда встал вопрос о формировании нового государства. Естественно, раскол социал-демократов на меньшевиков и большевиков оказался очень тяжелым событием, которое привело впоследствии к большим и трагическим последствиям.

В связи с этим заблудились сами большевики, которые сначала утверждали, что пролетариат берет власть с помощью демократии и управляет страной упираясь на демократию. Но уже летом 17-го года появляется «Государство и революция», ленинское учение о диктатуре пролетариата, которая ничем не ограничена и исходит только из революционной потребности и целесообразности. Демократические институты сразу начали попираяться: когда произошли выборы, эсеры набрали почти в два раза больше голосов — тем не менее, власть, которую большевики уже реально взяли, они решили не отдавать. Поэтому последовал разгон Учредительного собрания. Я не буду касаться Гражданской войны, в которую включились внешние силы, придавшие ситуации особую остроту и, по сути дела, заложившие основу для утверждения, что, собственно, удар нам нанесли извне.

Гражданскую войну удалось остановить тогда, когда почувствовали, что среди рабочих, — не говоря уже о крестьянах, которые оказались в особенно тяжелой ситуации, — возникли протесты против новой власти. Тогда начались разговоры о частной торговле, частной собственности (пусть мелкой), о рынке, концессиях... Одновременно, поднимались вопросы о привлечении новых людей к управлению государством. Новая экономическая политика (НЭП) оказалась таким стимулом, что к 1926-му году разрушенная страна, доведенная до

крайности, достигла уровня 1913 года — самого высокого уровня в тогдашней истории российского государства.

Я думаю, что концепция НЭПа (она, кстати, подтвердилась везде в мире, где пошли этим путем) была бы полезной для нашей страны. Но приход Сталина к власти сорвал все — прежде всего, Сталин уничтожил практически всех, кто выступал за этот вариант.

Судьба семьи, в которой я вырос, прямо связана с теми событиями и решениями. Два мои деда были бедняками, потом стали середняками. Один из них во время коллективизации не пошел в колхоз, а другой — не только создавал колхозы и совхозы, но к 37-му году стал заведующим земельным отделом (самый большой и важный орган на селе).

Северный Кавказ был в зоне голода. В селе Привольное, где я родился и жил, 40% людей умерло от голода. До войны все мы, дети (когда началась война, мне было десять с половиной лет), играли в войну и прятались в разоренных избах. Дед по линии отца, который оказался единоличником, должен был сеять (единоличникам давали задания, особенно по севам зерна). Дед не смог выполнить норму, потому что из шестерых детей трое умерли от голода. Сеять было нечем. Все, что пережевывалось, было съедено. За невыполнение этого задания его осудили и отправили на лесозаготовки в Сибирь.

Дед по линии матери будучи заведующим РАЙЗО (районный земельный отдел) был приговорен к расстрелу за связь с троцкизмом. У меня теперь есть копия его дела. Мне никогда в голову не приходило взять копию и выяснить, что же на самом деле произошло. Я верил деду — я знал его. От него я не слышал за всю жизнь ничего иного, кроме того, что Советская власть — «наша власть», что если бы она нам не дала землю, мы бы все умерли (а он, тринадцатилетним, и еще четверо детей остались без отца). Дед многое пережил. Поэтому, конечно, он, человек, поднявшийся с земли и добившийся каких-то результатов, был за Советскую власть — целиком и полностью.

Январский (1938) Пленум ЦК ВКП(б) «о перегибах» спас его. Как спас? Приговоры, расстрельные дела отдавались на

заключение прокуратуры края. Пришло туда и его дело. Там посмотрели — обвинения ничего не стоят. Не нашли никакого преступления, — и его освободили. Но он выдержал четырнадцать месяцев пыток.

На этом примере я хочу показать, как складывался сталинский режим. Кто-то пытается доказать, что он не был тоталитарным — хотят его приукрасить. Некоторые называют Сталина выдающимся менеджером — он был «менеджером» по перемалыванию народа. Крестьянин — имел или не имел коров — 120 литров молока отдай, 20 килограммов мяса отдай государству, или сам иди — в виде туши. Ну, и, наконец, закон Зверева, по которому каждое плодовое дерево обложили налогом, и независимо от того, плодоносит это дерево в этот год или нет, — налог плати.

Когда я закончил школу и собирался ехать в Москву поступать в Московский университет, у меня не было паспорта: крестьяне не имели паспортов. Я поехал поступать в вуз по «бумажке».

В то время это была еще крестьянская страна. Главной частью народа (главной и по массиву, и по тому, что она держала на своих плечах страну) было крестьянство. Армия, которая выиграла войну и которая понесла огромные потери — это тоже были крестьяне.

Добрались мы до 1956-го года, когда, наконец, грянул XX съезд. Я — тогда уже после университета — был на партийной работе в Ставрополье и поэтому оказался в числе тех, кто ездил с написанными материалами разъяснять, что же решил по вопросу о культе личности XX съезд КПСС. Это был первый приступ — по-настоящему серьезный, острый. И он поколебал всё. Самое главное — отсюда начались все процессы, потому что не только у нас, но в мире поколебались взгляды на социализм и коммунизм.

Я вспоминаю, что такое был 68-й год, когда я, будучи Вторым секретарем крайкома партии, проводил заседание (Первый секретарь оказался в отпуске). Принимали решение о поддержке решения о вводе войск в Чехословакию. Из получаемых нами «красных книжек» создавалось впечатление, что

вот-вот кто-то с Запада — из Германии, или из другой страны — войдет в Чехословакию и сделает новый аншлюс.

Через год я оказался в Чехословакии — в Праге, Брно, Словакии, в крестьянских районах. Отношение к Чехословакии у меня было самое лучшее, как и у всех нас. (У меня был друг Зденек Млынарж. Мы с ним дружили до конца его жизни. Успели с ним и книгу написать на основе наших разговоров). Только один факт — в Брно мы посетили военный завод «Сбровевка». Партийный комитет был расколот. Одни — за ввод войск, другие — против. На предприятии стояли войска. Мы пошли по заводу. Я там впервые увидел картину, которая меня до глубины души потрясла: рабочие в цехах, наши уважаемые и любимые чехи-словаки поворачиваются к нам спиной. Как только мы подходим — принципиально отворачиваются. И не то, что не хотят разговаривать — видеть не хотят. Кто-то постарался развесить бумажные портреты Ленина — тут же они в большинстве случаев были разорваны. Нас охраняли с винтовками. Мы наблюдали всю эту картину. Я тяжело пережил эту поездку.

Думаю, тогда мы подавили в Чехословакии то, что надо было делать всему социалистическому лагерю (как называлось всегда), ибо эти проблемы стояли везде. Надо было давать возможность для развития самостоятельности, для реализации интересов, для развития культурного и научного потенциала, накопленного в каждом из наших народов.

После этого в Советском Союзе началась политическая реакция. Было похоронено предложение Брежнева о проведении Пленума по научно-техническому прогрессу. А планировалось, глядя на то, что происходит на Западе, заняться этими вопросами и у нас. Их разработкой занималась группа под руководством академика Иноземцева — подготовленные материалы и доклад лежат сейчас где-то в архивах...

С того времени начался, я думаю, период неосталинизма. Не было массовых репрессий, хотя борьба с диссидентством была жесткой. Но ведь мы знаем: было то, чего нельзя было допускать.

Поэтому Перестройка была необходима.

Солженицын говорил: всё погубила горбачевская гласность. Я не согласен ни с Солженицыным, ни со всеми теми, кто говорит, что было все хорошо, ничего не надо было делать. Это болтовня и политические спекуляции.

Давайте разбираться — пока у нас есть только попытки разобраться. Если бы не было гласности, могу со стопроцентной гарантией утверждать, что Александр Исаевич Солженицын в Вермонте рубил бы дрова, заготовливал их на зиму, а я бы оставался Генеральным секретарем ЦК КПСС. Между прочим, я не из тех, кто всеми силами держится за власть. Я трижды делал попытки уйти из партийной сферы. Получив огромную власть — начал с ее трансформации, начал передавать власть тем, кому она принадлежит — народу, который и является ее источником.

Но сколько раз от демократов я слышал: Горбачев делает все, чтобы только удержаться у власти. Чепуха! Я бы и выборы такие не придумал, которые провели демократов в депутаты (Сахарова со второго захода сделали депутатом. Ельцина всякими путями — члены межрегиональной группы знают, какими — ввели в Верховный Совет). Поэтому утверждение, что Горбачев боролся за собственную власть — это ложь. Говорить так, значит, вообще ничего не понимать.

... Мне говорили: что вы носитесь со своей интеллигенцией?! Это говорил мне не один человек. Я отвечал: и я, и вы относимся к этому слою общества. Мы — часть интеллигенции. Но наша интеллигенция за годы Советской власти, известно, какой опыт имела, известно, как с ней обращались — и она к этому привыкла. Потом она начала пробуждаться — это имело огромное значение. Мы бы не дошли до той точки перемен, которые произошли, если бы интеллигенция не поддерживала политику Перестройки. Да, интеллигенция привела Бориса Николаевича Ельцина к власти. Потом она ему стала не нужна, и он от нее избавился. И подавляющее большинство представителей интеллигенции, по сути дела, оказались за бортом властных органов и структур. Но это не научило их ничему.

«Надо было считаться с традициями» — сегодня все чаще раздаются такие призывы. Человек из ближайшего окружения Дмитрия Анатольевича Медведева недавно высказался:

«Дмитрий Анатольевич не пойдет по пути Горбачева. Он твердо будет вести курс, не допуская слабости и т.д. Потому что наш народ такой, наши традиции таковы.»

Да хватит клеветать на народ! Чтобы делать выводы, приходится разбираться очень глубоко. У нас сложная история: 200 лет крепостного права, потом 70 лет коммунистического «крепостного права». Все это нельзя сбросить со счетов. Этим объясняются многие тактические шаги Горбачева.

Да, пока есть поддержка людей, ошибки будут прощаться. Не все, но большинство просчетов будет прощаться, как это уже было не раз. Я помню, как прощалось и мне. До 90-го года мой рейтинг составлял 50–60%, следующим, вторым шел Борис Николаевич Ельцин — 12%. Но мы сами сделали ошибки и сошли на этой волне.

Тогда легко было с нами справиться.

Но я не думаю, что развал Союза — результат перестроечных лет, что это едва ли не закономерность, что так должно было быть, и Советский Союз был обречен.

Мы начали дело, которое развернуло страну к процессам обновления. Перестройка оборвалась, но свою роль она выполнила. Потому что назад мы уже никогда не вернемся.

Из случайных наблюдений, без знания истории, без понимания, как разворачиваются социальные процессы — нельзя делать выводы. Поэтому надо рассуждать, спорить о ключевых периодах нашей истории. Мы говорим сегодня о трех датах 1968–1988–2008-й, чтобы, оттолкнувшись от них, понять самое важное.

Павел Кудюкин:

Ни о каком сохранении так называемого социализма советского типа речь уже идти не могла.

В своем выступлении, я остановлюсь на двух вопроса. Первый из них — болезненный вопрос — о возможности реформирования систем советского типа. Мы, конечно, видели, что реформы проводились. А возможно ли было проводить та-

кие реформы, которые не привели бы в результате к кардинальной смене характера системы?

Действительно, есть некая идеалистическая постановка вопроса: мы сохраняем господство государственной собственности, ведущую роль коммунистической партии, но при этом каким-то непонятным чудом получаем некую демократию. Или же, действительно, реформы, раз начавшись, при последовательном своем проведении неизбежно должны придти к грани, когда ставился вопрос о смене характера системы.

С моей точки зрения, ответ достаточно очевиден в современном мире, особенно в том мире, в той конфигурации, которую он получил, в том числе, в результате Перестройки, и «отпускания на свободу» восточноевропейских народов. Действительно, ни о каком сохранении так называемого социализма советского типа речь уже идти не могла. Ясно, что ему на смену должно было придти нечто иное. Вопрос в темпах, способах, в жесткости преобразований. Однако, чем дальше шел процесс, тем меньше оставалось свободы маневра — из-за экономической ситуации, из-за доминирующих тенденций в массовом сознании и т.д.

Есть второй вопрос, на котором я хочу остановиться. Конечно, развитие низового демократического движения очень хотелось бы назвать «массовым», но в России демократическое движение массовым так и не стало. Оно сохраняло верхушечный характер, хотя отчасти втянуло в себя представителей массовых слоев, прежде всего массовой нестатусной интеллигенции. Ничего сопоставимого, конечно, с польской «Солидарностью», с чешским «Гражданским форумом» в России не было. «Демократическая Россия», конечно, на порядок, а то и на два уступала им по массовости, по степени реального проникновения в толщу российского населения. В отличие от Украины, особенно ее западных регионов, тем более Прибалтики, где импульс демократического развития подкреплялся национальной идеей. Последняя находилась в весьма сложных отношениях с идеей демократической и подчас норовила ее подавить или придавить.

Стимулы, предпосылки для возникновения относительно, по российским масштабам, широкого демократического движения, конечно, возникли во второй половине 86-го года. Здесь, наверное, решающим моментом было возвращение академика Сахарова из горьковской ссылки и начало освобождения политзаключенных. Но это не было полной политической амнистией, и уж, тем более, реабилитацией. Освобождаемых политзаключенных не то чтобы принуждали, но настойчиво уговаривали подписать некие формальные, но все же достаточно унижительные заявления.

Примерно в тот же период — со второй половины 86-го года — начинается «утробный», клубный период развития общественно-политического движения, на которое в очень ускоренном темпе повторяло то движение общественной мысли, которое проходило в диссидентских кругах.

Иначе говоря, новое демократическое движение ускоренно проходило примерно такой путь: сначала некий «истинный социализм», возврат к Ленину, а потом — разочарование в социалистической идее как таковой, ее радикальное отбрасывание в противоположную сторону: «рынок сам по себе, своей невидимой рукой все расставит по местам, и всем станет хорошо».

1988-й год означал принципиальный сдвиг. Потому что из «утробной» стадии это новое демократическое движение перешло в стадию уличную и, действительно, резко нарастило свою массовость. Конечно, в России в лучшем случае шла о десятках тысяч участниках, что для почти 150-миллионной страны чрезвычайно мало. Хотя, если вспомнить, в какой асфальт нас, общество, закатывали до тех пор, удивительно, что появились и эти десятки тысяч человек...

С выборами на XIX партийную конференцию связаны первые достаточно массовые митинги, первые всполохи будущих так называемых «муниципальных революций», которые развернулись на рубеже 88–89-го годов в целом ряде крупных городов, когда в результате массовых митингов менялось партийное руководство. Это относится именно к весне — началу лета 88-го года, когда попытки партийного аппарата жестко контролировать и манипулировать выборами вызвали естест-

венное возмущение. В обществе начало просыпаться чувство собственного достоинства.

Это очень интересный момент: новое демократическое движение «проскочило» некоторые естественные стадии своего развития. В этом, может быть, была его слабость. Оно сразу и стремительно политизировалось, почти не задержавшись на стадии защиты социально-групповых интересов. Даже рабочее движение в России которое в 89-м году зародилось в связи с шахтерскими забастовками, тоже очень быстро оформилось как движение, прежде всего, политическое. Новые независимые профсоюзы, которые начали возникать на рубеже 88–89-го годов, остались достаточно маргинальным явлением в этом общедемократическом потоке.

Естественно, вовлечение в движение людей, которые раньше в политике не участвовали, в лучшем случае ею интересовались, приводило, с одной стороны, к крайней идеологизированности политического движения (причем идеологии очень быстро менялись), к легкой податливости этих политических неопитов на разного рода манипуляции и моды. С другой стороны, это приводило к поверхностному характеру политизации, к очень упрощенным представлениям о сложных политических вопросах.

Действительно, даже в 91-м году подавляющее большинство участников демократического движения были убеждены, что демократия — это когда у власти стоят «главные демократы». Мы знаем, кто тогда считался главным демократом. И те участники демократического движения, которые пытались поднять голос против такого примитивного понимания демократии, подчас подвергались в демократической среде остракизму.

С этим связана и очень важная проблема отношения нового демократического движения к проблеме социализма. Я прекрасно помню, какие дебаты шли в оргкомитете Московского народного фронта (МНФ) в июне 88-го года: должно ли в программных документах Московского народного фронта содержаться слова — «в поддержку социализма», «за социализм». И парадоксально, что как раз наиболее последовательно социалистические, сознательно социалистические группы,

участвовавшие в создании МНФ, как раз выступали против слова социализм в его программах. «Община» — говорили убежденные анархосиндикалисты, «демократическая перестройка» — говорили убежденные социал-демократы.

Я тогда писал статью в журнале Клуба «Демократическая перестройка» о демократии и социализме. Это был мини-трактат на злобу дня, где я говорил о том, что вредно говорить о поддержке социализма, потому что он — то ли будет, то ли нет, а задача борьбы за демократию реальна и первостепенна.

Для одних это была некая тактическая уловка: мы говорим, что мы за социализм, нас не будут особенно гнобить. Для других — искренняя вера. Потом, кстати, многие из тех, кто яростно боролся за слово «социализм» в документах МНФ, стали столь же яркими антисоциалистами в рядах «Демократической России».

Эта политическая наивность демократического движения, конечно, внесла свою лепту в то, что не удалось найти общего языка с системными реформаторами. Хотя, надо признать, что относительная немногочисленность, слабость и политическая наивность демократического движения вызывали встречное, весьма скептическое отношение к нему. Например, я прекрасно помню историческую фразу Александра Николаевича Яковлева по поводу идеи Круглого стола: «Какой Круглый стол, кого с кем?! Облако в штанах с облаком без штанов?!». Было же это сказано. И это было сказано весьма ошибочно, потому что даже такое, не слишком многочисленное и слабое, демократическое движение все-таки сумело произвести весьма сильное влияние на политический процесс. Не всегда позитивное влияние. Мы теперь это знаем, оценивая задним числом. И чрезмерный радикализм нас подводил, и недостаток реализма. Известно: если заранее знать, соломку всегда подложить можно, но этого не дано людям знать, как правило...

Еще одна важная проблема. Движение не успело вырастить из своих рядов собственных лидеров. Это потом сказывалось в партийном строительстве 90-х годов, — постоянное стремление найти варягов, найти «толстые эполеты». (Напомню рассуждения декабристов накануне восстания 1825 года:

«Вот нам бы толстых эполетов на площадь вывести — где их найти?)»

Поэтому была такая радость, что обрели Бориса Николаевича Ельцина. Хотя наиболее политически грамотные участники демократического движения прекрасно понимали более чем условность «демократизма» Бориса Николаевича Ельцина. И опасность вождизма.

Это то, что существенно отличало российское демократическое движение от демократического движения в странах Центральной и Восточной Европы. Конечно, у нас был Андрей Дмитриевич Сахаров. Но он очень не вовремя умер... Кроме того мейнстрим советской оппозиции состоял в том, что правозащитное движение сознательно в массе своей дистанцировалось от собственно политических вопросов — в отличие от Польши, Чехии, Венгрии. Это тоже одна из причин слабости нового демократического движения.

По большому счету мы проиграли тогда битву за демократию в России. Надеюсь, не окончательно. Скорее всего, нам рано или поздно придется вновь проходить этот путь. Надеюсь, без повторения старых ошибок.

Александр Аузан:

Снова возникла структурная неопределенность и непредсказуемость будущего.

1968 год — это тектонический разлом. Да, он по-разному выразился, вылился в Париже, Сан-Франциско, Праге, Москве, Пекине. Но разлом произошел, и это был ценностный сдвиг. Так закончился первый период послевоенной истории, а сейчас заканчивается второй: 2008-й год, возможно, обозначил исторический рубеж.

Самую страшную развилку кризиса мы прошли в сентябре 2008 года: гибели мировой финансовой системы не будет. Это означает, что хуже, чем Великая депрессия, уже не будет. Следующая развилка: либо срочно строить новую систему не только экономических, но и политических правил, ибо нельзя сейчас построить систему экономических институтов, не ме-

няя мировую систему политических институтов — это будет абсолютно неэффективно. И тогда спасение в мировом кризисе будет совместное. Либо каждый спасается поодиночке, за счет другого. И хочу сказать честно, насколько я знаю, все правительства готовятся и к тому, и к другому варианту.

Как нам «срочно» переустроить этот мир, возможно ли это? Это вопрос о ценностях, но происходит кризис ценностей. Теперь он носит открытый характер.

Я, в принципе, согласен с тем, что колея российской истории опять замкнулась. Опять всё, идет «по Николаю Бердяеву»: между февралем и октябром 1917 года перед изумленным русским взглядом парадом прошли все возможные партии и идеи. И русский человек выбрал то, что имел раньше — царя и державу...

Сейчас в мире снова возникли структурная неопределенность, усилилась непредсказуемость будущего. И, может быть, это даже более сильный вызов, чем угроза «возвращения в колею».

Есть сквозные исторические проблемы. Например, мы понимаем, что был высокий всплеск общественной активности Перестройки, и потом она уходила, и почти ушла. Но посмотрим, что происходило на Западе, что пишет, например, Фрэнсис Фукуяма об изменении структуры социального капитала: да, есть активность, есть доверие, но общество разошлось на мелкие «кружки цветоводов». На Западе гражданские движения перестали давить на власть, влиять на бизнес так, как это было после 1968 года. Это общая проблема.

На мой взгляд, социальный капитал не может концентрироваться, если не решаются вопросы ценностей. Потому что очень легко объединяться со своими. Почти невозможно объединяться с другими, с разными. На мой взгляд, развитие социального капитала в направлении, когда «разные» начинают доверять друг другу и разговаривать, возможно только в том случае, если работает такой фактор, как ценности.

Предстоит период конкуренции ценностей, создание новых, позитивно работающих мифологем, и в этом, мне кажется, состоит задача интеллектуалов.

Михаил Горбачев:

Мы должны продолжать ставить вопросы и отвечать на них.

Было бы хорошо завершить нашу дискуссию так: мы всё сможем. У нас есть интеллектуальный потенциал, мы способны переварить всё, что пережили за все эти «восьмёрочные» годы — и не только за это время.

Но важно, чтобы наши идеи вышли в круги политические и общественные. Чтобы общество по-настоящему серьезно озаботилось вопросами — как дальше будем жить, что будем делать сейчас? Я уже два года говорю об этом. Обобщаю настроения людей и вижу, что во всем мире усиливаются настроения приближающейся смуты, беды. Откуда они возникают у самых разных людей? — Наверное, из общения с теми, кто размышляет.

Нам нужна свобода, демократия, диалог между государством и обществом, между гражданскими институтами и бизнесом. Нельзя уповать на то, что какая-то сверхличность, или удар сверху помогут разрешить наши проблемы. Никто нас не спасет — ни Бог, ни царь, ни герой — только мы сами.

К согласию приходиться трудно. Но мы должны продолжать ставить вопросы и отвечать на них.

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ В ЖИЗНИ СТРАНЫ

15 марта 2011 г.

Шестидесятники. Самое известное, самое состоявшееся и самое долгое советское поколение: «советская часть» биографии других поколений — старше и младше, чем шестидесятники — не вместила в себя столько разных событий.

Если лицо поколения определяет значительное, поворотное событие в истории и культуре, то у шестидесятников таких было несколько, и они растянулись почти на полвека: Великая Отечественная война и 9 мая 1945-го, смерть Сталина, XX съезд КПСС, 1968-й, Перестройка. Этот событийный ряд образует стеновой хребет советской истории. Полемиически заострив, можно сказать, что шестидесятники — это и есть советские люди.

Шестидесятники, конечно, очень разные. Тем не менее, этим именем объединяют тех, кто начал искать ответ на вопрос: что такое советское общество. Тех, которые, в конце концов, пришли к выводу, что советское общество больно и назвали болезнь, загнавшую его в тупик, — сталинизм и тоталитаризм.

Шестидесятники начали искать выход из тупика — к свободе. Благодаря этому они «запустили» историческое движение.

Шестидесятники — люди поворотного времени, в которое вливаются следующие поколения. Поэтому вопросы о времени шестидесятников и о том, что они значат в жизни страны — это вопросы о направлении перемен, которое создает историю.

Ольга Здравомыслова

Выступающие

- Михаил Горбачев**, экс-президент СССР;
Вольфганг Айхведе, историк (ФРГ);
Людмила Алексеева, правозащитница;
Юрий Афанасьев, историк;
Руслан Гринберг, экономист, член-корр. РАН;
Александр Даниэль, историк;
Ольга Здравомыслова, социолог;
Дмитрий Маслов, историк;
Вадим Межуев, философ;
Сергей Ковалев, правозащитник;
Татьяна Заславская, социолог, академик РАН;
Григорий Явлинский, политик;
Виктор Шейнис, экономист, общественный деятель;
Виктор Кувалдин, политолог;
Наталья Иванова, литературный критик;
Петр Федосов, политолог;
Людмила Телень, журналист;
Владимир Ядов, социолог;
Евгений Ясин, экономист, общественный деятель.

Выступления

Руслан Гринберг:

Изменения в обществе и государстве могут состояться только при наличии партии реформ.

Я считаю себя шестидесятником, горжусь этим ощущением и твердо знаю, что зародилось оно 5 марта 1953 года. Умер Сталин. В то время моя семья жила в Азербайджане, — отец работал главным инженером на Мингечаурской ГЭС. Я никогда не забуду тот день: весь город Баку рыдал. Я, разумеется, тоже заплакал. Отец нагнул ко мне и тихо произнёс, — и я запомнил это на всю жизнь: «Не плачь, не такой уж он был хороший». Я не мог не верить городу Баку и республике, но отец был ближе. Это стало, как принято теперь говорить, настоящим социо-культурным шоком, — и началом развития моего личного гражданского самосознания.

С этого события начинается период, который можно без всяких оговорок назвать «эпохой шестидесятников». Хотя само это название пришло, укрепилось и начало обесцениваться, рассыпаться позже. Думаю, шестидесятники были лучшие советские люди, предпоследнее советское поколение, и к тому же они были очень разные, — важная особенность, ставшая ясной только в наши дни. Объединяло их, собственно, одно — стремление переделать страну, чтобы жить здесь было плодотворнее и интереснее, т.е. без всяких преград для творческого самовыражения.

Но что такое было «шестидесятничество», какая мировоззренческая основа обозначилась у этого небывалого явления? Ответ не так прост, как может показаться. Во всяком случае и сегодня актуален анализ общественного проекта послесталинской эпохи. Его уже нет, но я думаю, что в нем уместились бы гуманизм раннего Маркса и политико-экономический реализм позднего Ленина. При этом нельзя не отметить самую важную черту этого феномена. Жизнь страны, её культуру, сознание людей вдруг наполнил воздух свободы, предвкушение

свободы, даже грезы о свободе, почти детская вера в торжество свободы, мифотворчество свободы! В воздухе витал вкус свободы. И, конечно, должны были, рано или поздно появиться предвестники свободы.

Сегодня всё чаще говорят о смерти двух великих утопий: «всемогущества плана» и «гармонии рынка». Очень важно это подчеркнуть, так как шестидесятники хотели объединить справедливость, свободу и товарно-денежные отношения, т.е. «рыночность», и общественный интерес. Этот синтез — только в неизмеримо расширенных масштабах, — и сегодня ищет наш, по определению Энтони Гидденса «ускользающий мир». В идеях шестидесятничества были заложены основы великого синтеза социализма и свободы.

Хочу напомнить ещё о том, что 1960-е годы — это годы надежд, годы благородных порывов, и не только в наших поисках социализма с человеческим лицом, но и на Западе тоже. Вспомните лозунги молодёжной революции 60-х годов: да здравствует Маркузе! долой бюрократию! И на Западе философия освобождения и социально-гуманитарного ренессанса, протесты против потребительства и эгоистического индивидуализма, поиски истины и смысла жизни, стремление к солидарности — составляли главное содержание общественно-политических движений, «майской революции» во Франции. Очень любопытные образовались параллели. Несмотря на наивность и утопичность многих идей того времени, две вещи напрашиваются в качестве обобщения. Это была реальная развилка истории и возможно, историческая альтернатива; это был поразительный феномен, возникший в мире, расколотом на две непримиримые социальные системы.

Существует такая гипотеза: американцы очень боялись, что «Пражская весна» и впрямь станет успешной альтернативой историческому капитализму. Есть даже информация будто бы советскому руководству посылались сигналы о том, что мол, Запад, НАТО никак не будет противодействовать возможным жестким мерам Кремля по прекращению пражского эксперимента. Гипотеза спорная. Но версия показательная. Конвергенция была не нужна и невыгодна правящим элитам обе-

их конфликтующих мировых систем. Удачная была научно-историческая догадка, недаром ныне тяга к конвергенции не только не исчезла, но и набирает силу.

Чем отличаются шестидесятники от последующих поколений? Это, думаю, чистая психология. Я не очень верю в этический прогресс человечества, но убеждён, что есть какая-то критическая масса в гражданском обществе и среднем классе, критическая масса «хороших людей», которых заботит общественный интерес. Хочу подчеркнуть, что шестидесятники твёрдо верили в возможность улучшить социализм. Я вспоминаю разговоры моих родителей и их друзей из среды технической интеллигенции. Они подсмеивались над формулировками Программы КПСС, но ни в коем случае не над идеями социализма. Они смеялись над фиксированными сроками и иронически говорили: «Никита Сергеевич хочет за двадцать лет построить коммунизм». Но почти никто не сомневался в том, что, — принципиально, — это действительно магистральный путь человечества. И надо признать, что несмотря на ужасы и нелепости реального социализма он преподнес миру, по крайней мере, четыре подарка: социализировал капиталистический мир, построил основы промышленности от Балтики до Китая, подтолкнул к разрушению колониальную систему и, наконец, цивилизовал национальные окраины СССР.

Теперь об оборотной стороне шестидесятничества — незнании и некритическом обожании Запада, комплексе неполноценности в комбинации с великодержавным высокомерием («мы сопоставимы только с США»). Благодаря этому в конце 80-х годов многие из влиятельных шестидесятников отказались от мировоззренческих основ 60-х. А отказавшись от своего прошлого «прекраснодушия», они безоговорочно приняли господствовавшую в то время на Западе праволиберальную догматику. В сущности, это был отказ от идеи великого синтеза свободы, равенства и солидарности. Лозунг безбрежной свободы стал определяющим, чем воспользовались пришедшие к власти политические циники и новоиспеченные финансовые магнаты.

Шестидесятников можно назвать и поколением упущенных возможностей. Их шансы преобразовать страну остались нереализованными, хотя уже в советское время возникали предпосылки для зарождения гражданского общества. Так, в косыгинских реформах просматривалось не только стремление к справедливости и хозяйственной эффективности, но и к экономическим свободам. Многие искренне считали, что сталинизм и издержки тоталитарного режима преодолены навсегда, что советское общество эволюционирует в направлении иной политической системы и «другой» экономики. Ожидание нового, так сказать, аутентичного социализма, витало над страной.

В 1968 году после событий в Чехословакии стало ясно, что первый приступ крепостных стен тоталитарной системы окончился неудачей, которая, строго говоря, не должна представляться неожиданной: для руководства партии и жиреющей номенклатуры модернизация политической системы влекла за собой ограничения их безраздельной власти и влияния. В этом смысле начавшийся в стране неосталинистский разворот в политике, курс на цементирование административно-командной системы и её ценности был, практически, неизбежным.

С позиций сегодняшнего дня очевидно, что изменения в обществе и государстве могут состояться только при наличии партии реформ и поддержки гражданского общества. Поэты, художники, диссиденты, провозвестники и глашатаи свободы многое понимали или ощущали, но они не могли быть конструкторами, прорабами, технарями, и тем более, «работягами» реформ — их движущей силой и социальной опорой. В этой ситуации единственным правильным решением были политические реформы, необходимые для развития самого гражданского общества.

Перестройка и гласность Горбачёва стали попыткой этих объективно необходимых преобразований. Гарант их необратимости — средний класс и влиятельное гражданское общество. Демократия — не власть простого большинства, это определённые технологии отбора лучших решений, контроль гражданского общества над институтами государства, защита

жизни, свободы, частной собственности и гражданских прав, свободного предпринимательства, наконец, мотивация гражданской активности. Демократия — это важная часть саморегулирования экономических процессов и выбор типа экономической политики.

Перемены были нужны, и начать их решил именно Горбачёв. Он сделал свой личный политический и нравственный выбор, а это требовало настоящего гражданского мужества. Выбор курса на перемены, обновление, был для него безальтернативен. В критический момент Перестройки общество и многие прежние сторонники не поддержали Горбачева. Но спустя 20 лет после мучительного опыта распада СССР, рыночных реформ, социального кризиса, приходится признавать его правоту почти по всем главным пунктам.

Неготовность к переменам при их неизбежности, непонимание путей их осуществления через формирование гражданского общества и его институтов, — вот что объединило большую часть политического класса и ещё не вполне свободных граждан страны. Нужна была последовательная позиция, гражданское мужество соратников, профессиональных политиков, которых в реальности оказалось критически мало. Все чувствовали неизбежность преобразований, но мало кто представлял их направление, структуру и последовательность, параметры, а менее всего — степень их сложности и возможные последствия.

Для кого-то Перестройка превратилась в бесконечные телешоу и нескончаемый уличный карнавал. Митинги и шествия на Манежной, бесконечные адепты «нового», — кому интересно, кому романтично, кому, как любят сказать актёры, «волнительно», — все знали, что «так дальше жить нельзя», а многие ждали выгоды от перемен...

Для многих шестидесятников Перестройка представлялась шествием в гарантированно прекрасное будущее — «иного не дано», — чем быстрее, тем лучше, а тот, кто медлит, — лишается симпатии и поддержки. «Скучная конкретика» убивала романтику, тормозила приближение «золотого века» и породила настороженность среди шестидесятников, впервые, может быть задумавшихся о своём месте в прекрасном

будущем: планы обещали структурные и отраслевые сдвиги и переделы, и не только в промышленности, а того страшнее — в бюджетной сфере. Шестидесятники раскололись. Генералы от обороны, промышленности, госаппарата потянули государственное одеяло в разные стороны. Наконец, обозначились и агрессивно заявили о себе, по выражению Стругацких, «серые». Они были малопрофессиональны, зато жаждали власти и мечтали убрать Горбачёва, стоящего на пути к ней. Этого не надо замалчивать. Они обещали всё — и «через три месяца» все блага мира, и решение всех проблем, и «голову на рельсы» в случае неудач. Масса «нетерпеливых» стала материальной силой этих процессов.

Об идеях шестидесятников многие тогда, кажется, позабыли. Достаточно пролистать прессу того времени, чтобы ясно увидеть: в противостоявшем Горбачеву лагере, в который входили многие из известных в стране шестидесятников, не было ни единства, ни аргументированной позиции, ни понимания, ни определения приоритетов развития. Строгую аналитику подменили «новизной, решительностью и смелостью» высказываний, которые зачастую противоречили друг другу.

Именно тогда проявилось истинное величие Горбачёва. Среди нарастающего гвалта он продолжал линию на демократические преобразования. Выскажу мысль, которую не очень любит Михаил Сергеевич (он мне в этом случае говорит: «ты зря народ ругаешь, народ и есть народ») — я думаю, что появление тогда Горбачёва было Чудом. А посмотрев на результаты выборов последних лет, убеждаюсь в этом ещё больше...

Постыдны и нелепы огульные обвинения Горбачева в развале страны и всех неудач Перестройки. Ещё более неуместно требовать от него пресловутого «покаяния». Но так случилось, что многие из числа шестидесятников, отвернувшись от Горбачева, поддержали «ельцинистов» — тех, кто нанес удар в спину ему и Перестройке. Именно тех, кто реально разваливал и расчленил нашу бывшую общую Родину. Так были преданы идеи Перестройки и, в конечном счете, идеи шестидесятничества. А Горбачев был, в сущности, предан именно теми, на кого он больше всего рассчитывал.

Политических и экономических целей Перестройки невозможно было достичь без поэтапного ослабления и, в конечном счете, полного демонтажа административно-командной системы. Речь шла о новом балансе интересов и полномочий общества и государства. Но реальный процесс изменений был настолько сложным и неуправляемым, что это позволило сторонникам Ельцина подвести к развалу СССР под флагом спасения российской государственности. «Спасли» — ценой возрождения извращённой власти административно-командной системы, передачи собственности номенклатуре, имитации рыночных реформ и затапывания «ростков» среднего класса, появившихся в конце советского периода.

Нынешнее поколение «реформаторов», прикрываясь праволиберальной риторикой, остается, по сути, адептом вульгарного экономизма. Порой кажется, что они, наши современники, уже родились с «двойным мышлением». А их новое мировоззрение — рыночный фундаментализм — можно перевести на русский язык как узаконенное своекорыстие с тотальным игнорированием общественного интереса. В соответствии с этим бедные сами виноваты в том, что они бедны. И эта ложь продолжается.

В переломные эпохи истории первичны активность и самодетельность гражданского общества, его историческое творчество, а не пресловутые «объективные законы экономики». Без активности освобождающегося и становящегося гражданского сознания остается лишь легко поддающееся манипуляциям политтехнологов путаное сознание растерянного молчаливого большинства. Это важнейший политический урок уникального опыта шестидесятников.

Надо видеть перед собой как цель свободного гражданина, а не подданного государства — подневольного, социально угнетенного и незащищенного наемного работника. Это и есть последняя тайна нашего современного «застоя» и путь выхода из него.

Вадим Межуев:

Шестидесятники остались в нашей истории как выразители духа и смысла «оттепели».

Когда у нас говорят о шестидесятниках, обычно имеют в виду людей искусства — писателей, поэтов, режиссеров, художников, в какой-то мере журналистам, реже политиков. Не знаю, каких именно политиков того времени можно отнести к шестидесятникам. Хрущева я шестидесятником не считаю.

Но были и другие шестидесятники, о которых знают и пишут значительно меньше. Большинство из них вышло из среды философской и среды других гуманитарных наук. Понять, о чем думало и мечтало это поколение, нельзя без обращения к написанным тогда текстам Эвальда Ильенкова, Мераба Мамардашвили, Александра Зиновьева (хотя последнего я отношу к шестидесятникам с некоторой натяжкой), Юрия Левады, Юрия Карякина, Бориса Грушина, Бориса Шрагина, Карла Кантора и многих других. Главное, что их отличало от более позднего поколения диссидентов и инакомыслящих, состояло, на мой взгляд, в том, что, будучи непримиримыми противниками сталинизма, они не были, за редким исключением антисоветчиками. Они были поколением начавшейся «оттепели», а не периода «застоя» и окончательного крушения системы.

Но я хочу сказать о другом. И, прошу извинить меня, если буду в чем-то резок по отношению к некоторым, называющим себя сегодня шестидесятниками.

Если Михаил Сергеевич Горбачев также принадлежит к этому поколению (с этим я полностью согласен), то остается загадкой, к какому же тогда поколению принадлежит Борис Николаевич Ельцин. В этом я вижу проблему, которую хотел бы здесь поставить. Оба они — люди одного возраста, одного социального происхождения, одной политической биографии. Но большей человеческой противоположности в политической истории нашей страны конца XX века я не знаю. Самое интересное, что люди, поддержавшие Бориса Николаевича при его восхождении к власти, тоже считают себя шестидесятниками. Вот тут и встает вопрос, в котором хотелось бы разобраться.

Пока шестидесятники поддерживали Горбачева, все было вполне оправданно и логично. Ведь приход Горбачева к власти означал и их победу. Я и сейчас считаю (и не сочтите это просто комплиментом), что начатая им перестройка была торжеством шестидесятнических идей, во всяком случае, их прямым продолжением после затянувшегося «застоя».

Но что заставило некоторых шестидесятников (не всех, конечно) поддержать Бориса Николаевича Ельцина в его конфронтации с Горбачевым? Ведь в результате прихода Ельцина к власти именно шестидесятники, как теперь ясно, потерпели поражение, были вытеснены на периферию политической жизни.

Как мне кажется, в советской истории, роковую роль сыграли две ненависти, наложившие на всю эту историю трагический отпечаток. Во-первых, ненависть Сталина к Троцкому, питавшая развязанный им массовый террор, во-вторых, ненависть Ельцина к Горбачеву, ставшая, на мой взгляд, причиной не только краха советской системы, но и распада страны. И мне трудно понять, как люди, называющие себя шестидесятниками, так быстро сменили свои привязанности и политические симпатии. Поставив на Ельцина, они в моих глазах перестали быть шестидесятниками, потеряли право говорить от этого имени.

Кого же в таком случае следует считать шестидесятниками? При всем насаждавшемся тогда единомыслии, они были, конечно, очень разные. Но никто из них не был врагом Октябрьской революции и социализма. Кстати, аналогом шестидесятников на Западе являются для меня все же не бунтующие студенты, а, скорее, еврокоммунисты с их поиском демократической модели социализма, свободной от наследия сталинизма.

Шестидесятники остались в нашей истории наиболее яркими выразителями духа наступившей после XX съезда «оттепели», который следует отличать от застойного духа брежневской эпохи. «Оттепель» — это период освобождения общества от сталинского дурмана в жизни и идеологии, десталинизация режима и сознания, не порывавшая при этом с социализмом и марксизмом, а, наоборот, ставившая своей задачей прорвать-

ся к их подлинному смыслу и содержанию. Застой, наступивший после подавления Пражской весны, стал эпохой разочарования значительной части интеллигенции в том и другом. Для поколения периода «оттепели» действительность, какой она представляла в СССР, существовала под знаком хоть какой-то разумности, пусть временно искаженной сталинскими репрессиями и заключала в себе возможность рационального объяснения. Его пытались обрести в заново прочитанном марксизме. С крушением надежды на построение «социализма с человеческим лицом» та же действительность стала восприниматься как нечто совершенно иррациональное, лишенное какого бы то ни было человеческого содержания и смысла. Все действительное, выражаясь гегелевским языком, перестало быть разумным, а разумное утратило всякую связь с действительным.

С концом «оттепели» шестидесятническая вера в возможность построения справедливого и гуманного социалистического общества сменится либо полным дистанцированием от всякой политики, уходом во «внутреннюю эмиграцию» (примером может служить философия Мамардашвили), либо нарастающим движением правозащитников, диссидентов, инакомыслящих, которые тоже были очень разные, но которых я уже не отношу к собственно поколению шестидесятников. С разгромом Пражской весны шестидесятники как бы ушли в тень, чтобы опять ненадолго возродиться (вернуться в политическую жизнь) в период перестройки.

С.А. Ковалев: Я должен сказать, что разгром Пражской весны много значил как раз для диссидентов.

Межуев: Правильно. Я об этом и говорю.

Ковалев: И не там начиналось диссидентство.

Межуев: Я хочу сказать, что шестидесятники в большинстве своем не были диссидентами.

Ковалев: Были. И диссиденты были центральным ядром шестидесятников.

Межуев: Тогда давайте поспорим. Я диссидентов в период Хрущева не знал.

Ковалев: А я знал.

Межуев: Мы, видимо, по-разному понимаем слово «диссидент». Для меня диссидент — это тот, кто стоял на позиции не реформирования, а отрицания советской власти. Таких людей среди шестидесятников во времена Хрущева я не знал. Тот, кто отрицал советскую власть с самого начала, как правило, не считал себя шестидесятником. Среди философов таким был Мамардашвили (во всяком случае, так он себя позиционировал в более поздние годы), среди писателей, насколько я знаю — Василий Аксенов. Их тоже считают шестидесятниками, но сами они отрицали свою принадлежность к ним. Иное дело, что социалистические реформаторы типа, например, деятелей Пражской весны или сторонники сближения и конвергенции двух систем, каким был Сахаров, наряду с открытыми противниками социализма, также были причислены к лагерю диссидентов. Но во времена Брежневского застоя любая критика существующей действительности считалась крамолью и диссидентством. В тот период даже критика сталинизма считалась признаком политической неблагонадежности и антисоветизма. В таких обстоятельствах, действительно, трудно отличить шестидесятников от диссидентов (типа, например, Буковского). Были и шестидесятники, которые затем стали диссидентами, т.е. открытыми противниками всего советского и социалистического. Именно они, на мой взгляд, и изменили чуть позже делу перестройки, сыграли роковую роль в ее судьбе.

Я никогда не принадлежал к той части нашей интеллигенции, которая, поддержав Горбачева, предпочла ему затем Ельцина, посчитав его более подходящей фигурой на роль «могильщика социализма». В то время их невозможно было убедить в ошибочности такого выбора, повлекшего за собой все последующее. Только сегодня, глядя назад, многие из них начинают осознавать, что Ельцин с его антикоммунизмом был человеком прошлого в значительно большей мере, чем Горбачев с его социал-демократическими убеждениями.

Какую, собственно, задачу решали люди, пришедшие к власти вместе с Ельциным? Они хотели сделать Россию капиталистической страной. Но может ли страна с такой историей и составом населения, как наша, сразу же вскочить на «капита-

листическую лошадь»? Капитализм не строится в один присест и с конца. Ему предшествует тысячелетний рынок, естественным продолжением которого капитализм и является. Реформаторы ельцинского призыва решили не просто дать дорогу рынку, а одним махом перейти к капитализму. Что из этого получилось, все знают — возникло сословие олигархов, рухнула вся производственная и социальная инфраструктура, страна погрязла во всеобщей коррупции. Шестидесятники не были противниками рынка и демократии. Они лишь хотели сочетать то и другое с некоторыми базовыми для социализма ценностями, о чем свидетельствуют введенные ими в широкий оборот термины «демократический социализм» и «рыночный социализм». Перейти сразу же к капитализму в стране, не имеющей массового опыта жизни в условиях рыночной экономики, не обладающей навыками буржуазной культуры и образа жизни, явно, невозможно. Такой переход надо было как-то увязать с ценностями, близкими и понятными большинству населения, выросшего в условиях советской власти — его верой в социальную справедливость, чувством социального равенства, привычкой пользоваться социальными благами бесплатного образования и медицины, гарантированного труда, жилья и пр.

Если Горбачев в полном соответствии с духом шестидесятничества хотел десталинизации социализма, хорошо понимая, что большая часть населения ни социально, ни психологически еще не готова для полного перехода к капитализму, то Ельцин, учинив погром социализму, привел страну к состоянию, возродившему в душах людей самое худшее, что было при социализме — призрак сталинизма, но уже без всякой связи с социализмом.

Я и сейчас думаю, что единственно возможным политическим выбором власти в то время был выбор не между социализмом и капитализмом, а между социализмом и сталинизмом. Это и был выбор шестидесятников, никогда не отождествлявших социализм с сталинизмом. Антикоммунизм понадобился Ельцину для прихода к власти (до того ничто в его биографии не указывало на подобное настроение), но понимали ли тогда поддержавшие его демократы, что разрыв с прежней верой будет положительно воспринят населением только при усло-

вии качественного улучшения их жизни? Да, в период перестройки не удалось сразу перейти к рынку (как известно, перестройка длилась всего три года), но рынок, возникший при Ельцине, превратился в систему повальной коррупции, обогатившей тех, кто оказался ближе к власти. Да и с демократией не все в порядке. Ельцин не преследовал журналистов, это верно, но, не видя в них политических конкурентов, не очень прислушивался к их мнению. Насаждая капитализм сверху, чуть ли не принудительными средствами, наши рыночные реформаторы даже не скрывали своей готовности пойти ради этого на определенные уступки авторитарной власти. Сегодня эти уступки обернулись отступлением от принципов демократии по всему фронту.

В моем понимании, шестидесятники пытались как-то сочетать левую и правую идеи, если угодно, примирить социализм с либерализмом. Им противостоят справа и слева те, кто пытается столкнуть эти идеи в непримиримой борьбе друг с другом. Либералы, пришедшие к власти во времена Ельцина, видели свою миссию в полном искоренении из сознания людей социалистической идеи, их непримиримыми противниками являются люди, называющие себя коммунистами. Но социализм, отвергающий все либеральные ценности — это сталинизм, а либерализм, отвергающий социалистические ценности — это ельцинизм, т.е. еще один вариант недемократической и авторитарной власти. По моему убеждению, Россия и сегодня нуждается в совместном участии в политической жизни страны правых, и левых сил, в определенном сочетании защищаемых ими ценностей. Я так всегда и понимал политику перестройки.

Я не знаю ни одной современной демократической страны, в которой левые и правые не уживались вместе в одном политическом пространстве, где тон задавали бы исключительно одни лишь либералы или, наоборот, социал-демократы. Среди левых в нашей стране — первыми, кто признал определенную правоту либеральных ценностей и идей, были как раз шестидесятники. Найдутся ли свои шестидесятники и у правых, способные признать определенную правоту социалистических идей?

Юрий Афанасьев:

Оказались ли способными шестидесятники постижению России в XX веке?

Мне кажется, что момент после выступления Вадима Межуева для меня удачный — в том смысле, что я готов ему и возразить, и поспорить по существу. По существу, как мне кажется, у меня несколько иной — чтобы не сказать даже совсем другой — взгляд на шестидесятников по сравнению с тем, о котором говорил Вадим Михайлович — и не только он один.

Проблему, которую мы обсуждаем, можно было бы сформулировать в форме вопроса: оказались ли способными шестидесятники к осмыслению, к постижению России в XX веке?

В такой постановке вопроса главное, что мне хотелось бы сказать, сводится к следующему.

Шестидесятники, в целом, как некое явление нашей культуры, некая поколенческая целостность продемонстрировали неспособность ответить на подобные вопросы о самих себе и окружающем их мире. Особенно наглядно это проявилось даже не в 60-х годах, а несколько позже, в 80-х, когда из уст Горбачева прозвучало это слово — «перестройка».

Перестройка чего? Перестройка во что?

Именно тогда шестидесятники обнажили свою неготовность к тому, чтобы увидеть в этих вопросах самое сокровенное жизненное вопрошание обращенное к ним самой судьбой.

Такой упрек не следует воспринимать как обвинение в адрес шестидесятников. Надо увидеть в нем горькую констатацию нашей общей беды (в том числе и моей личной беды тоже). Для того чтобы это объяснить, следует сказать несколько слов о том, что я имею в виду под «стечением обстоятельств, набором и масштабом самих фактов и событий».

Это не просто сам по себе тот событийный ряд, который обычно при объяснении феномена шестидесятников выстраивается из известных не только нам, но и всему миру событий — имен собственных, обозначивших XX век. К ним относятся: «Октябрьская революция», «Гражданская война», «построение

социализма и ГУЛАГ», «жертвы сталинских репрессий», «Вторая мировая война», «XX съезд КПСС и разоблачение культа Сталина» и т.п.

Я имею в виду не сами по себе эти события, а способность шестидесятников постигать и раскрывать их **СМЫСЛЫ**.

В обоих способах постижения смыслов — научном и художественном — целью может быть только постижение истины. Подобное заявление покажется банальным, но, полагаю, только лишь на первый взгляд. Шестидесятники именно на этом и споткнулись.

* * *

Для меня несомненно, что у Октябрьской революции были солидные отечественные, почвенные основания, а у большевизма — глубокие русские корни. Это была по-настоящему массовая народная революция. Ее массовость была обусловлена консервативным — даже правильнее сказать, реакционным ответом подавляющего большинства крестьянства на начинавшуюся тогда модернизацию России. На такой массовости, оседлав ее, как пена на гребне морской волны, взмыли наверх и захватили власть большевики. Стихийность и антигосударственность масс в революции соотносились с организованностью и целеустремленностью большевиков буквально «по Гегелю» — как единство и борьба противоположностей. В революцию погрузилась, опрокинулась вся Россия. Погрузилась и опрокинулась в нее, а вместе с ней — надо подчеркнуть — и в глубокую, допетровскую, еще русскую архаику.

В революции принимали активное участие, в том числе с оружием в руках, десятки миллионов. Она начиналась, как это ни парадоксально прозвучит, победой большинства участвующего в ней народа, сопровождалась даже установлением на какое-то время его диктатуры, а продолжалась поражением, трагедией победившего большинства и установлением тирании, диктатуры меньшинства — партии большевиков. Время окончательного утверждения диктатуры большевиков известно — начало 30-х годов. А вот дата завершения трагедии победившего поначалу в революции большинства и до сих пор остается открытой. В этом смысле — революция продолжается.

Только прямые людские потери России и Советского союза после 1917 года — погибшие в войнах, ГУЛаге и депортациях — превышают 60 млн человек. Косвенные демографические потери (нерожденные, до срока умершие) не поддаются учету. И даже не только сами по себе названные цифры, потрясающие воображение, и даже не только масштабы потерь составляли эпохальное вопрошание, обращенное к шестидесятникам:

Опрокидывание общества в патриархальную архаику — происходило путем его десоциализации, дерационализации и деморализации. Происходило расчеловечение, раскультирование социальности, превращение ее в социальность животную, зверскую, инстинктивную. Дегуманизация общества осуществлялась целенаправленно, по заранее разработанному плану.

Разумеется, цели провозглашались совсем иные, ничего общего не имеющие с фактической дегуманизацией. Последовательно, в течение семидесятилетия лозунги цели звучали так: «прорыв в слабом звене империализма», «мировая революция», «построение социализма в одной стране», «подготовка к отражению внешней угрозы», «создание мировой системы социализма», «построение коммунизма».

Дегуманизация социума осуществлялась в двух сферах одновременно, в социальной и духовной.

После «военного коммунизма» и гражданской войны — неудавшейся, но искорежившей всю Россию, попытки прямого перехода к социализму, — был короткий, но бурный событиями промежуток НЭПа. С переходом к нему неожиданно резко усилились социальная дифференциация и разнообразие общества. Стали появляться все новые мелкие частные производства, росли кустарные промыслы, возникали и крепились новые крестьянские хозяйства, а на этой основе формировались, разнообразились, все новые личные и общественные интересы и, как грибы после дождя, множились всяческие кооперативы, профсоюзы, творческие объединения, общества. Продолжалась поэзия «серебряного века». Казалось, в России снова забрезжило самым началом XX столетия. Но уже в ходе НЭПа Сталин понял, что с таким взрывным обилием разнооб-

разных частных и общественных интересов, с таким пестрым народом воплотить большевистский Проект будет невозможно.

И он решил заменить народ.

О подлинных целях «построения социализма» в ходе коллективизации, индустриализации и культурной революции судить надо по их результатам. А они таковы, что все население Советского Союза — поголовно все! — по социальной своей сущности было превращено в государственных служащих. И все они в таком их социальном статусе, но в то же время каждый из них поодиночке, оказались привязанными на короткий поводок полной зависимости от государства.

Хотели уничтожить личный интерес и естественное стремление человека по своему выбору реализовывать свои способности. Только государство, его Проект и его интересы. Результат получился трагический. Вместо чсоциальности на основе права и морали получили социальность зоологическую, стадную, основанную на насилии, страхе и животных инстинктах. Личный интерес оказался, как и следовало ожидать, неистребим, но реализовать его стало возможным только в обход запретов, то есть криминальным путем. «Теневая» экономика, двойная мораль и поголовная преступность стали рукотворными нормами, иносказанием социализма.

* * *

Введение единомыслия — столь же важная составляющая «построения социализма», как и достижение искусственного социального однообразия. Но у него была и своя история: от «корабля философов», «Краткого курса» через основные вехи борьбы с «формализмом», «аполитичностью», «космополитизмом», «абстракционизмом». Были у него столь же трагические, как и в достижении социального однообразия, но все-таки свои, специфические результаты.

Целенаправленными действиями на протяжении теперь уже почти целого столетия российская власть стремилась и стремится расширить сферу разума за счет очищения человеческого сознания от пришедших из прошлого и мешавших, по

представлениям власти, строительству социализма (а последние двадцать лет — капитализма) стереотипов, привычек, «устаревших» нравственных ценностей и способов мировидения.

На это разрушение работала в первую очередь вся система советского дошкольного, школьного и вузовского образования. О ней много говорят в последнее время, подчеркивая ее достоинства: общедоступность, бесплатность, — особо выделяя добротность высшей школы в подготовке специалистов-профессионалов для народного хозяйства. С такой задачей она действительно как-то справлялась. Не говорят, как правило, о нашей системе образования (она в этом смысле не изменилась до сих пор) в связи с формированием человека думающего.

В том же направлении насильственного внедрения бездумности работала и вся машина советской пропаганды. Радиоточка — обязательно в каждой квартире; газета, хотя бы районная, — в каждой семье; кино, ритуальные шествия, парт— и профсобрания с разнообразными разоблачениями на протяжении десятилетий и с персональными делами — обязательно для всех.

Введение единомыслия обернулось укрощением стремления советского человека понимать и, следовательно, сужением сферы сознательного «Я» в его психике. Что же касается сферы «сверх-Я», то попытки советской, а вслед за ней и постсоветской власти мобилизовать мифологизированное сознание масс в заданном, желательном для нее направлении завершилось здесь не просто еще **большим** сгущением издревле присущей такому сознанию непроясненности. Манипуляторская историческая политика и попытки сформировать в обществе «нужную» для власти память о прошлом привели к полному «цивилизационному сумбуру» в массовом сознании. Ветхозаветное «око за око» синхронно сосуществует в нем с «энергетической сверхдержавностью», «народ-богоносец» — с «народом-быдлом», царский герб — с красным знаменем. А в целом случилось невиданное доселе обрушение массового сознания в архаику.

* * *

Не случайно, по-моему, именно на долю России выпали самые крупномасштабные, по сравнению с другими странами, социокультурные катаклизмы в минувшем веке. Набравшие тектоническую силу, веками не разрешаемые здесь проблемы воплотились в прошлом столетии событиями, затронувшими глубинные основания сущности человека и общества.

Резюме сказанного и суть этих событий можно выразить одним словом — античеловечность. Невообразимые людские потери, искалеченные души оставшихся в живых, общий трагизм происходящего состоял в том, что вместе с властью в античеловечную практику на протяжении минувшего столетия была вовлечена очень значительная часть всего населения. Настолько значительная, что дает основание, например, историку Юрию Пивоварову обозначить уникальный в мировой практике социокультурный феномен с не самым, может быть, удачным, но вполне определенным названием — **властепопуляция**, имея в виду власть вместе с населением как актора, как действующего субъекта.

Аналог подобного феномена в экономической реальности — властесобственность, когда собственность-реальность остается эфемерной, пока не соединяется с собственностью-функцией, властной должностью-креслом или с теперь уже миллионами властесобственников, напрямую или опосредованно вовлеченных во власть. Политически персонифицированной реальностью властепопуляции первым после революции явил себя Сталин-самодержец — как интегральное воплощение десятков миллионов реальных, но анонимных сталиных-самодержцев.

Во властепопуляции, с одной стороны, не отождествляются и не уравниваются власть и население ни социально, ни по функциям, ни по ответственности за содеянное. С другой стороны, между ними нет и жесткой демаркационной линии. Отношения власти и населения всегда выстраивались в России по принципу дихотомии: не разлей вода — борьба на уничтожение; контакт — конфликт; любовь — ненависть. У нас трудно даже помыслить власть и население по отдельности.

Только «поврозь и вместе». Даже палачей и жертв за все советские годы «расквартировать» никак не получается: один и тот же человек иногда по нескольку раз за свою жизнь был как в роли палача так и в роли жертвы.

* * *

Возникает самый важный вопрос: неужели никто из шестидесятников так и «не увидел»? Или же «не осознали и не ужаснулись» — это и есть проблема данного поколения?

Шестидесятничество ни по мировоззрению, ни интеллектуально, ни идейно, ни, тем более, политически совсем не представляло собой ничего похожего на монолит. Что-то вроде смутного единства просматривается здесь в том, что трудно выразить рационально: душевный порыв, нравственная устремленность, раскрепощенность духа, желание «обнять небо» и уехать в тайгу «за туманом»... Это трудновыразимое настроение тоже было реальностью. Притом той реальностью, что сохраняет надежду на неукротимость света и добра. Во всем остальном поколение было действительно разным, причем разным до самих принципиальных оснований.

Среди шестидесятников было много религиозных людей — притом, что и веровали они, даже оставаясь в православии, по-разному. Многих из них отличала радикальная жизненная позиция в отношении **сущего**. Многие из них отвергли каноническое православие РПЦ и в своей вере пришли в православные братства, по существу же — в различные формы катакомбной церкви. А, может быть, эта «катакомбность» стала своеобразным выражением их эскапизма по отношению к социально-политической реальности?

Были среди шестидесятников и среди их современников писатели, художники, которые в постижении истины по некоторым важнейшим проблемам достигли тех же предельных глубин.

Война как социокультурная проблема, как трагедия, надломившая страну, предстала в работах Виктора Некрасова, Василя Быкова, Виктора Астафьева, Алеся Адамовича, Григория Бакланова, Элема Климова, Алексея Германа. Их работы, конечно, больше, чем про войну, а иногда даже и не совсем

про нее. Они, как у Василия Гроссмана, — про жизнь и судьбу России...

И писателей-«деревенщиков» мне почему-то совсем не хочется называть «деревенщиками». Как будто бы мелко плавающих из-за их замкнутости в какую-то узкую, специальную, даже маргинальную тему. Такие, самые выдающиеся из них, на мой взгляд, как Федор Абрамов, Борис Можаев, Валентин Распутин раскрыли советскую повседневность как продолжение и один из моментов кризиса русской культуры. В частности, они увидели в приспособляемости к среде на грани выживания важнейший архетип русскости как социокультурного типа. Они поняли, что терпение — удел сильных духом, а приспособляемость, адаптативность — не терпение, а навсегда сломленный дух, рабская покорность и раздавленность человеческого существа.

Не укладываются в какое-то определенное направление шестидесятничества такие имена, как Абдурахман Авторханов, Иосиф Бродский, Алексей Герман, Фазиль Искандер, Андрей Сахаров, Александр Солженицын. Скорее всего, не вписываются в него вообще. При том, что Сахаров и Солженицын, например, были идейными антиподами, а вместе они совсем иначе — не так, как, скажем, Герман, Искандер или Померанц, — в совершенно иных формах и способах постигали и являли миру свою истину. Вписать их всех вместе в какое-то одно, общее для всех, хотя бы поколенческое течение невозможно. Но и не назвать их в связи с шестидесятниками тоже нельзя.

Диссидентское движение тоже не бесспорно и вряд ли напрямую и целиком вписывается в явление шестидесятничества. Но к пониманию этого феномена оно (как и самиздат), безусловно, имеет прямое отношение. Диссидентство в свою очередь довольно определенно делилось, как минимум, на двое, а именно: диссиденты-правозащитники довольно четко отличали себя от диссидентов-политиков. Последние преследовали политические цели, ставя под вопрос само существование советского режима. Но тех и других объединяло, и в то же время граждански противопоставляло шестидесятникам, откровенно враждебное отношение к ним советской власти, вплоть до готовности их уничтожения. Среди них: — такие, как

Шестидесятники в жизни страны

Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Лариса Богораз, Валерия Новодворская, Юлий Даниэль, Анатолий Марченко, Сергей Ковалев — и бывали, и погибали в тюрьмах, психушках, в изгнании. Для понимания шестидесятников диссидентское движение существенно как еще один, выразитель глубины и разнообразия многочисленных расколов, существовавших в советском социуме.

* * *

Размышляя о шестидесятничестве, нельзя обойти молчанием и тех отдельных личностей той поры, для которых умение думать и рассуждать, казалось бы, должно было быть не только призванием и удачей, но их основной профессией. Я имею в виду плеяду советских обществоведов и представителей гуманитарного знания, окончивших Московский университет. Назову только две группы — одну из философов и социологов, другую — из историков. Обе эти группы — яркие исключения на общем сером и скучном фоне советского обществоведения.

Наиболее известные имена здесь — Александр Зиновьев, Эвальд Ильенков, а вслед за ними — Борис Грушин, Генрих Волков, Карл Кантор, Юрий Карякин, Юрий Левада, Мераб Мамардашвили, Георгий Щедровицкий. Потом некоторые из этих выпускников МГУ оказались вместе, но уже в ИМРД — Институте международного рабочего движения Академии Наук и объединились там, в одном отделе, а заодно и в «кружке Юрия Замошкина», куда вошли ещё и Виталий Вульф, Юрий Давыдов, Александр Пятигорский. Потом, в семидесятые годы и позже судьба разводила, разбрасывала этих ярких, одарённых людей. Кто-то из них уехал из страны навсегда, кто-то отправился «на время», работать в Прагу в журнал «Проблемы мира и социализма», кто-то ушел, по сути, во внутреннюю эмиграцию, внешне продолжая работать «по специальности».

Для всех этих расходящихся путей развилкой стал выбор для каждого из них: погружение в среду ради постижения России — или сделка с советским режимом ради сохранения профессии. Все они (кроме Александра Зиновьева) тогда выбрали второй путь. Эта сделка сказала на них по-разному — в их

исследовательской проблематике и в их отношении к русской интеллектуальной традиции.

Почти все они в исследовательском плане занимались западноевропейской проблематикой. В частности, они подняли важную проблему несоответствия, и даже противоположности раннего Маркса ему же самому более позднему. Тем самым вольно или невольно благодаря им под вопросом оказывался в определённом смысле и сам марксизм в целом, претворившийся в Советском Союзе. Это, конечно же, было новое слово, даже, можно сказать, это был уже язык другой эпохи. Они стали там, на Западе, искать и исследовать последствия марксизма, а героями их повествований становились, например, Сартр и Маркузе...

Что же касается отношения философов и социологов этой группы к отечественной интеллектуальной традиции, включая и досоветскую, то хотя многие из них в эту традицию были погружены, ею поглощены, но довольно странным, почти парадоксальным образом — сами они этого как будто не осознавали. Сущность же самой традиции точно выразил выдающийся русский мыслитель Георгий Федотов: «Русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».

Вторая группа гуманитариев, на которую я хочу обратить внимание — это студенты, аспиранты и молодые преподаватели истфака МГУ, ставшие известными как «группа Краснопевцева». В середине 60-х годов, сразу после XX съезда КПСС они стали обсуждать, не просто, что такое культ личности Сталина, но и то, как это явление соотносится с советской действительностью. Кроме Льва Краснопевцева в разное время в группу входили Вадим Козовой, Николай Обушенков, Николай Покровский, Леонид Рендель, Марат Чешков. С этой группой были связаны и проходили «по делу группы Краснопевцева» и другие студенты, аспиранты и преподаватели истфака МГУ и других московских вузов (например, Владимир Крылов, показавший себя уже после освобождения талантливым и разносторонне эрудированным исследователем). В 1958 году состоялся закрытый процесс по делу этой группы. Все привле-

чѐнные по делу получили от пяти до десяти лет лагерей и были пожизненно лишены права проживания в Москве.

Власть жестоко покарала их за то, что они нарушили святая святых — табу сталинского властвования — показали, что возможен иной, по сравнению с навязанным, взгляд на советскую историю, что можно критиковать сам общественный строй. К тому же, власть утратила страх перед просветительской активностью, усмотрела признаки нелегальной деятельности в диспутах, в неформальных собраниях, в попытках установить связи с рабочими, со студентами. Преследовалось и каралась сама мысль, любое новое слово о советской реальности, любая активность за рамками дозволенного.

* * *

Мне кажется, что на фоне поколений 30-х и 40-х — жутких и тяжелых предвоенных и военных лет мобилизационной активности и сверхчеловеческого перенапряжения, после надрывных, «эпохальных» десятилетий — следующего поколения (в основной своей массе) могло хватить лишь на имитацию деятельности, в том числе, и мыслительной.

Это не вина, а беда шестидесятников. Они долго оставались *инфантильны*, вели споры о «физиках и-лириках» — лирика вообще играла *большую* роль в формировании эпохи и поколения. Само мировосприятие тогда было преимущественно эмоциональным. Достаточно вспомнить поэтические вечера в Политехническом институте как сильнейшее притяжение времени — через поэзию, бардовскую песню прорывался голос немолчащего большинства.

Имитация (деятельности) и неумение (помыслить и понять Россию) — ключевые, на мой взгляд, понятия, характеризующие это поколение. Закономерный инфантилизм шестидесятников проявился в их «поздней зрелости», в долгом взрослении. Они «заговорили» гораздо позже своих «отцов», погруженных в иные исторические обстоятельства. Пробудилась часть поколения — и то лишь к своему собственному сроку-пятидесятилетию... А до того времени поколение «зрело», слишком медленно избавляясь от инфантилизма.



В русском языке греческое слово метанойя ассоциируется с покаянием. Однако, «метанойя» означает еще и «перемену ума», перемену в восприятии фактов и явлений — процесс *постоянного* переосмысления. В православной культуре, покаяние отнесено к единичному деянию, к разовому ритуалу, а не к постоянному жизнеощущению. Бывали, конечно, и великие исключения. Например, исихазм — широкое и продолжительное явление в русской религиозной жизни. С этим явлением связаны такие имена, как Сергей Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублев, Нил Сорский, протопоп Аввакум; такие движения, как нестяжательство и старообрядчество. Практика метанойи была для исихастов константой их жизни, но это были исключения в русской культуре. Они вошли в историю, как пример постоянного переосмысления, выработки нового взгляда на мир.

Именно это я имею в виду, говоря о ключевой нерешенной проблеме поколения шестидесятников.

Виктор Шейнис:

Шестидесятые начались в пятидесятых.

В ходе дискуссии разгорелся спор: кем были шестидесятники и какой вклад внесли они в историю страны. Нам сказали (В. Межуев), что шестидесятников надо ранжировать: вот ядро (несколько уважаемых философов), вот своего рода периферия (известные деятели культуры), а за ними и вокруг них — лишь те, кто незаслуженно носит имя шестидесятников — они-то и погубили перестройку. По мнению другого оратора (Ю. Афанасьев), шестидесятничество — более широкое общественное явление, но его фигуранты так и не дали ответ на вопрос: что есть советскость, русскость, что представляет наш национальный тип культуры. И потому за ними пришло поколение, заложившее основы социальной практики, в результате которой мы получили ельцинско-путинский режим...

Несправедливо и наивно ответственность за то, что мы сегодня имеем, возлагать исключительно или даже преиму-

щественно на шестидесятников. Можно согласиться с тем, что, занимаясь критикой и самокритикой, мы не достигли еще понимания. Но важно подчеркнуть главное.

Да, шестидесятники были очень разными, вели себя по-разному и эволюционировали, наталкиваясь на сюрпризы, которые преподносило время. Но в обществе, прошедшем школу подлости сталинизма, они, в целом, возрождали ум, честь и совесть. Как утверждал поэт-шестидесятник Наум Коржавин, «ведь правда не меркнет и совесть не спит». И кто-то должен был начать восстанавливать то и другое в их истинном значении, а не в том, какое им было придано, по Оруэллу, в новоязе Министерства правды и охранялось достославными службами Министерства любви. По собственному житейскому опыту мы знаем, что ростки живых растений нередко пробиваются сквозь асфальт. История шестидесятничества повествует, как, когда и почему это происходило в жизни советского общества.

Личностное становление шестидесятников пришлось на периоды Отечественной войны, XX съезда и оттепели. Однако роль каждого из этих событий была разной и влияние на жизнь общества неоднозначным.

Победа в войне. Событие, разумеется, всемирно-историческое. Но победа народа, оплаченная десятками миллионов погибших и не меньшим числом сломанных судеб, в общественном сознании была приватизирована режимом, приписана гению Сталина и до нынешних дней является одной из главных, если не самой главной, «подпоркой» сталинского мифа. Мы редко обращаемся к сравнению с победой в первой Отечественной войне 1812 года. Тогда из Европы вернулись свободомыслящие офицеры, противники крепостного права, сторонники Конституции. Многие из них стали декабристами. А о победителях в самой страшной в истории России Великой Отечественной войне, которая спасла и нашу страну, и Европу, точно сказал Иосиф Бродский: они «смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою».

XX съезд. Главное — даже не разоблачения, прозвучавшие на его закрытом заседании. Для наиболее продвинутой (правда, не очень многочисленной) части общества в них не было чего-то принципиально нового, а массы людей, в общем,

многое представляли или догадывались. Потрясение вызвало то, что «секретный» доклад Хрущева, оглашенный в сотнях тысяч аудиторий, на самом деле секретным не оказался. Правда, шок был сильным, но не глубоким и недолговременным. Сами разоблачения были строго дозированы, причины преступлений сведены к негативным чертам личности Сталина, да и зловещая роль диктатора далеко не была полностью раскрыта. А главное, официальная концепция нашей истории, пришедшая на смену прежним фальсификациям «Краткого курса», была не менее лживой. Ее пересмотр официальными инстанциями начался только во времена Горбачева, и то можно проследить по документам, как медленно и постепенно, шаг за шагом Михаил Сергеевич отходил от трактовок, многократно переделывавшихся во времена Хрущева-Брежнева-Андропова. Задачу возвращения подлинной истории в память общества начали решать именно шестидесятники. Преодолевая сопротивление идеологов режима и их спецслужб.

«Оттепель». И для симпатизантов, и для хулителей «оттепель» — это обозначение исторического периода, в который исторически вмещается, в основном, шестидесятничество. Но нужно сказать, что оно ведет свое начало не с 60-х годов и даже не с XX съезда, а с 5 марта 1953 г., когда умер Сталин. Важно подчеркнуть: точка отсчета шестидесятнического движения восходит не к разоблачениям на XX съезде, а к началу 50-х годов. В запоздавшем уходе тирана в мир иной и в лихорадочных телодвижениях его преемников люди, до того проделавшие в своем сознании расчет со сталинизмом, и люди, которых эти события подтолкнули к такому переосмыслению, увидели сигнал к глубоким переменам в стране, а многие из них — и к необходимости действовать. Действия эти были разрознены и различны, но разоблачители «культы личности» расценили их как угрозу режиму. И когда с востока на запад поезда повезли первых реабилитированных, выживших в ГУЛАГе, навстречу им власть двинула иной поток — первых политзаключенных, пусть не столь многолюдный, но людей, получавших свои сроки еще не по 70-й, а по статье 5810. Людей, осужденных не по наветам, а «за дело», которое квалифицировалось как «антисоветская агитация и пропаганда». Я знал некоторых из этих людей. То были первые всходы шестидесятничества.

«Оттепель» же включает *interregnum* 1953–1957 гг., время Хрущева и еще полтора-два года исторической инерции. А окончательная черта была подведена подавлением Пражской весны. В это время советское общество начало преодолевать сталинистское восприятие мира, страны, себя, своего будущего. Процесс этот не завершен до сих пор. Сама «оттепель» вовсе не была процессом последовательным, поступательным. Период 1953–1964/66 гг. — это постоянные перепады оттепелей и заморозков. О том можно напомнить множеством примеров. «Новомирские» публикации конца 1953 — начала 1954 г. — и первое смещение Александра Твардовского с поста главного редактора журнала и истерика на II съезде ССП. Читки доклада Хрущева на XX съезде в аудитории, охватившей почти все взрослое население страны, — и разгромные партийные постановления о «гнилых людях», которые позволили себе начать обсуждение услышанного. Новые разоблачения на XXII съезде, публикации «Одного дня Ивана Денисовича», «Наследников Сталина» — и мракобесный *Kulturkampf* на рубеже 1962–63 гг. Число таких примеров легко множить.

Поколение шестидесятников формировалось в непростой исторической обстановке. Политическая температура отличалась резкими перепадами, и развитие шло по алгоритму: иди — стоп — назад! Но идеологическая и политическая «болтанка», когда набег идеологических опричников перемежались послаблениями, все-таки отличалась от агрессивной манкуртизации сознания людей в сталинский период. Возникли условия, хотя далеко не тепличные, но все же расширявшие мыслящую часть общества, продвигавшие людей к переосмыслению прошлого и настоящего. Важно подчеркнуть, что становление шестидесятников как идейного течения в обществе происходило не благодаря, а вопреки партийно-государственной политике, в преодолении официального «единомыслия» (которое Михаил Гелфтер очень точно назвал «безмыслием»). Обретала самостоятельность мысль, а вслед за тем возникало стремление к свободе действия — сначала в идеологии, а потом и в политике. Переход от мысли к действиям власть окрестила «идеологическими диверсиями».

Иными словами, начала возрождаться духовная, идейная оппозиция режиму, хотя люди, собиравшиеся для обсуждения волновавших их политических, культурных, исторических и иных общественных проблем на кухнях малогабаритных квартир, осваивавшие кустарное производство самиздата и с немалым риском привозившие «тамиздат», таковыми себя — во всяком случае, вначале — не числили. Но постепенно малые группы сливались в общее культурное пространство, инфраструктуру которого образовали честные произведения, периодически прорывавшиеся в печать, самиздат и тамиздат, радиоголоса, записанные на магнитофон песни бардов. «Эрика» берет четыре копии», — пел Галич, и не подконтрольная властям сеть коммуникаций становилась со временем все более плотной.

Деятельность шестидесятников вовсе не сводилась к политической философии и публицистике. Поколения людей советских лет рождения приходили в мир, идеологически и культурно стерилизованный, подогнанный под уровень понимания плохо образованных партийных вождей. Были изъяты из нормального обращения целые пласты культуры — творения русских писателей, художников, ученых, выброшенных в эмиграцию или погибших в ГУЛАГе. Люди были отрезаны от современной литературы и общественной мысли Запада. Высшим достижением мировой научной мысли почитался марксизм, адаптированный к уровню последних партийных документов и высказываниям вождей. Из великой литературы, кино и театра XX в. отбирались главным образом творения зарубежных авторов — «друзей» Советского Союза и «борцов за мир», которые благосклонно возвели в ранг произведений «социалистического реализма». Шестидесятники выполняли важную культурную работу, восстанавливали связь времен, стран и континентов. Многие публикации в журналах, спектакли, кинофестивали становились для массового читателя и зрителя художественными открытиями. И — в наших условиях — событиями политическими. Ибо, например, первая большая выставка Пикассо в Эрмитаже в 1956 г. и повышенное внимание к ней ленинградцев, особенно молодежи, стали предметом особого внимания и контрдействий КГБ. Не говоря уж о читательских

конференциях журналов «Вопросы истории» (в г.) и «Новый мир» (в 1964 г.) в Ленинграде.

Перед людьми, которые в условиях несвободы выламывались из идеологической официальнойщины, — то есть перед свободомыслящей и социально ответственной частью советской интеллигенции, прокладывая пути к источникам информации, и формировавшей новую нравственную и идейную ауру в стране, — со временем все более отчетливо вырисовывался выбор модели поведения.

Можно было пытаться действовать, так или иначе принимая во внимание заданные властями рамки, по мере возможности раздвигать эти рамки (в науке, в литературе, в искусстве) — и получать выход на более или менее широкую аудиторию. То есть, работая в академических институтах и университетах, в газетах и журналах, в творческих союзах и издательствах, пытаться проводить через эти официальные структуры освоенные культурные ценности и собственные наработки и идеи (к слову: не зная заранее, где в каждый данный момент проходит подвижная граница дозволенного). И в ненормальных идеологических и политических условиях выполнять нормальные функции, имманентные интеллигенции — продуцировать и транслировать идеи, просвещать общество, в особенности вступающие в жизнь новые поколения сограждан. Отдавая себе отчет в том, что такая работа наталкивается на неизбежные ограничения и предполагает определенные, морально мучительные, а подчас и духовно разлагающие компромиссы с властями.

Либо открыто демонстрировать несогласие с официальной идеологией или, по крайней мере, с теми или иными действиями властей, откуда брало начало чуть позже оформившееся, выросшее из шестидесятничества движение правозащитников, диссидентов. Значительная часть свободомыслящей интеллигенции, каков бы ни был выбор, стала налаживать неофициальные каналы идейного и культурного общения и обмена, изготавливая и распространяя сам- и тамиздатскую литературу, устраивая неформальные выставки, организуя «незримые колледжи» и т.п. Это, конечно, был уже не просто обмен мнениями на кухнях, а большая, нелегкая работа, связанная с

постоянным риском. Ибо государственная машина контроля и подавления оставалась, быть может, единственной не изношенной составляющей советской системы.

Перед шестидесятниками, сколь бы высокие позиции в своей профессиональной области они ни занимали и какой бы известностью, в том числе международной, ни пользовались, стоял трудный нравственный и интеллектуальный выбор. Названные выше модели поведения представляли перед ними в бесчисленных, переходящих из одной в другую, пересекающихся вариациях. Компромиссный вариант чреват был опасностью соскользнуть по плоскости, описанной еще Щедриным: сначала «по возможности» — потом «хоть что-нибудь» — и, наконец, «применительно к подлости». Но далеко не всегда идеальным образцом поведения для всех представляла и жесткая ригористическая позиция несгибаемого противостояния властям. Достаточно вспомнить несправедливые, на мой взгляд, упреки Солженицына Твардовскому, спасавшему журнал «Новый мир» ценой маневров и уступок до поры, пока ему это удавалось.

Разделение шестидесятников на открытых диссидентов и тех, кто стремился сохранить статусные позиции, открывавшие возможности влияния на более широкий круг сограждан, в каждый данный момент прикидывая, сколь допустима цена компромисса, мучительно переживалось многими из них. «Кто матери-истории более ценен?» — Я не знаю ответа на этот вопрос и не думаю, что вообще существовал однозначный для всех случаев ответ.

На каждом из избираемых путей были свои «волчьи ямы». Советская система изоляции, подчинения и дискредитации «инакомыслящих» была отлажена на славу. Сталкиваясь с нею, вступая в споры меж собой, переживая подозрения и взаимные обвинения, шестидесятничество в условиях брежневско-андроповского зажима вступало в полосу кризиса. Но оно внесло свой вклад в нравственное просветление и интеллектуальное возрождение известной части советского общества.

Пятидесятые-шестидесятые годы были очень важным этапом преобразования советского общества, произрастания и распространения того свободомыслия, которое впоследствии

принесло плоды. Я не думаю, что перестройка — это продолжение «оттепели», прямое продолжение 60-х. Между ними колоссальный разрыв — примерно 17–18 лет. Это было во многом потерянное время. Ибо параллельно шла и ускорялась деградация, разложение народа, утрата нравственных критериев. Это было потерянное время для толщи общества, для его развития, для становления каких-то самостоятельных и самостоятельных структур, потому что импульсы, заданные шестидесятниками, в большей или меньшей мере ушли в песок. Пришло новое поколение, не испытывавшее воздействия «Нового мира», поэтических вечеров в Политехническом и на Маяковке, утратившее уважение к собственному труду (раз его плоды все равно расхищаются ненасытной системой), но увлеченное картинками малодоступного тогда в СССР потребления.

Потерпев серьезный урон в столкновении с системой, шестидесятничество захлебнулось в эпоху так называемого «застоя». Сами шестидесятники, конечно, никуда не исчезли (если не считать утраты важной креативной их части, ушедшей во внешнюю и внутреннюю эмиграцию, разочаровавшейся в возможностях общественного деяния), но они оказались в своего рода культурном гетто, утратили динамизм развития, не смогли стать укорененной в обществе силой, представляющей реальную альтернативу системе.

Диагноз, поставленный этой системе продвинутым и рационально мыслящим крылом шестидесятников, оказался верным. На исходе XX в. в мире у нее не было будущего. Стечение причудливо сложившихся обстоятельств выдало чудо (какие вообще-то не раз случались в многовековой истории нашей родины). На главный партийно-государственный пост в «не вполне нормальной стране», с почти неограниченной вначале властью над людьми и событиями, пришел Михаил Горбачев — «человек с нормальными нравственными рефлексам и чувством здравого смысла» (как написал впоследствии один из его сотрудников). Его слова (сначала) и действия (затем) задали импульсы, которые вызвали общественный отклик, сломали инерцию «застоя» и сделали ход вещей во многом необратимым. В представле-

ниях Горбачева о сущем и должном, и в том, как реагировали на перестройку различные слои общества, нельзя не увидеть известного влияния шестидесятничества, влияния внесенных ими идей. Выйдя на поверхность в условиях гласности и свобод, они во многом определили идейную атмосферу просыпавшегося общества. Перестройка идеологически началась не на целине, как перемены в годы «оттепели», а на подготовленной ранее почве.

Шестидесятники передали — через исторический провал — идейную эстафету Горбачеву и перестроечному поколению. Чтобы оценить их органическую связанность, достаточно посмотреть: многие из них, сохранившиеся физически и интеллектуально, — сегодня, после всех споров и взаимных непониманий, — с Горбачевым. И Горбачев с ними. А что не получилось у шестидесятников, — это заложить не только идейные, но и политические, организационные предпосылки перестройки. Сформировать когорту политиков, способных сориентироваться в новой, отличной от послесталинских лет ситуации. Ибо — в силу многообразных обстоятельств — они не смогли создать политическую партию перестройки. Но грешно их в этом винить. И не надо возлагать ответственность за то, что нас не устраивает сегодня на людей, которые действовали в своем времени, ошибались и терпели поражения, но в истории страны оставили далеко не худший след.

Татьяна Заславская:

К шестидесятникам относятся люди, которые выступали за свободу, демократию, честность, преданность своей стране.

Я отношусь к поколению более старшему, чем шестидесятники. Когда наступили 60-е годы, мне уже было 33 года. Но это было очень большое счастье — «оттепель» и появление новых идей.

Я хотела бы сказать о том, как нам жилось до этого времени. Я в это время уже работала в Институте экономики, защитила кандидатскую диссертацию, но работать и «дышать» бы-

ло совершенно невозможно. Например, вся библиотека была закрытой: книги выдавались по особому разрешению — по письменной расписке. На дискуссиях, которые, тем не менее, шли, — немедленно «затыкали глотку» тем, кто пытался говорить. То есть это была самая настоящая тюрьма.

Я закончила экономический факультет, и моя мечта была очень простенькая: разобраться в том, что представляет собой советская экономика, и почему законы социализма не работают — ни один из законов: закон распределения по труду существует, но он не выполняется; закон стоимости существует, но он не выполняется. И мне хотелось понять, что это такое. А для того, чтобы понять, надо было обращаться в Спецхран. А чтобы обратиться в Спецхран, надо было вступить в Коммунистическую партию. Без этого не пускали туда...

И такая жизнь — она была пустая, какая-то бессмысленная. Например, мы изучали экономику сельского хозяйства. Хотелось понять, почему же у нас такая нищая деревня? Но мы имели право получить только данные по району, а уже областные данные были совершенно секретные. И мы могли «изучать» один колхоз...

Поэтому для нас «оттепель» явилась огромным счастьем. И XX съезд, конечно. Волосы, так сказать, встали дыбом, и началось какое-то освобождение — освобождение мысли. Оно шло необыкновенно медленно, но те элементы «оттепели», которые все-таки постепенно пробивались, давали жизнь, как вода — сухой пустыне.

Мне кажется, говоря о шестидесятниках, нельзя рассматривать их как партию или какое-то политическое течение, потому что это были одиночки. Одиночки, которые собирались в небольшие дружеские кружки и на знаменитых «кухнях» могли обсуждать что-то по существу и пытаться добираться до правды собственными усилиями. Это, конечно, для нас было очень большим счастьем. И это было повсеместно. Маленькие кучки, — но они были повсеместно по всей России.

То, что сближало, что лежало в основе течения шестидесятников — это ценности, конечно. Какие это были ценности? Может быть, даже самой первой была ценность нашей страны — Советского Союза. Потому что мы мечтали, что впереди бу-

дет коммунизм — нас этому учили, так сказать. Мы были очень патриотичны и очень нацелены на то, чтобы работать на благо Родины. И с этих позиций рассматривали, что хорошо и что плохо.

Вторая ценность — это правда. Потому что мы тонули во лжи, просто тонули! Поэтому кусочки правды, оттуда или отсюда услышанные, во-первых, обогащали, а во-вторых, они же и создавали связи между людьми: я знаю то-то и рассказала этим-то, а мне рассказали это и т.д. И таким образом у нас расширялось знание о том, что действительно происходит в стране в отличие от того, что писалось в газете.

Третьей ценностью была свобода. Свободы практически тоже не было никакой. Но сам ветерок, который уже подул, дал надежду на свободу, когда уже появилась возможность, допустим, на партийном собрании выступить против каких-то идей. Собрание примет к решению, которое надо, а в коридоре парторг тебе скажет: «Молодец, правильно сказала». Или другие люди скажут.

Так шло постепенное формирование этого течения (шестидесятников), которое составляли, в основном, творческие люди. К 1968 году уже сильно все это развилось. Уже барды пели, и много чего другого делалось, расправились плечи у людей. В 1968 году на это грубо наступили: были события в Праге — и снова жесткие меры.

Но люди уже могли бороться теми или иными средствами. Из опыта своей жизни могу сказать, как боролись.

Что значит бороться, если ты ученый? В 1958 году мне поручил ЦК КПСС фундаментально доказать (дали два года на это), какая разница в производительности труда в сельском хозяйстве СССР и США. Мы с подругой два года работали, не разгибаясь, поскольку это была громадная работа. Производительность труда совсем непросто исчисляется. Мы получили результат в среднем и получили результаты по каждой конкретной отрасли. Написали на 80-ти страницах доклад и примерно три четверти книги. Назначили обсуждение в Большом зале Института экономики. Утром мне звонит секретарь директора Института и говорит: вас срочно вызывает директор. А заседание в 12 часов. Большой скандал: у всех, кому уже

развезли экземпляры доклада, их отбирают. ЦСУ заявило, что это неверно, страшная ошибка, поскольку у нас получилось: мы отстаем от США в 4–4,5 раза в среднем по сельскому хозяйству и примерно, в 1,5 — по зерновым, до 12 раз — по мясу, молоку.

Собрали все экземпляры доклада — у меня не осталось ни одной странички, закрыли все черновики в сейф, без доступа. И сказали, что нас надо судить, потому что мы злодеи и т.д. Мы разобрались потом с ЦСУ. Они вынуждены были признать, что правы все-таки были мы, и сказали, почему же так получилось. Оказалось, что Хрущев за несколько дней до этого сказал, что мы отстаем в 3 раза, а у нас получилось — в 4,5 раза. И два года жизни и очень интенсивной работы просто было перечеркнуто, как будто этого и не бывало... Короче говоря, клетка, где возможностей для творчества не было.

Мне кажется, что шестидесятники это не совсем «поколение» — к шестидесятникам относятся люди, которые выступали за свободу, демократию, честность, преданность своей стране. И чем больше их в обществе, тем общество здоровее. И здесь совсем не так важно партийное направление — левое или правое. Самое главное — это все-таки преданность свободе, честности и, я бы сказала, Родине. Потому что все эти разговоры на кухнях были о России. О ее истории, ее будущем, о путях этого будущего. Разговоры, конечно, были разные, и взгляды были, конечно, разные...

Владимир Ядов:

Шестидесятники — удачливое поколение.

Социолог Борис Фирсов написал книгу о советских поколениях, которая называется «Разномыслие в СССР».

Фирсов доказал, что «советским» было поколение наших отцов. Позволю себе процитировать Фирсова: «Люди, родившиеся перед первой мировой войной и в первое послереволюционное десятилетие, прошедшие социализацию в условиях победившего социализма, стали первым и практически единственным, собственно советским поколением, домини-

ровавшим в 30–40-е годы. Именно эти люди образовали первое и последнее поколение, которое прошло «закалку» массового террора, милитаристскую муштру, школу подчинения и противостояния, школу массового голода, и осталось скованным советскими канонами и стандартами поведения». А шестидесятники уже не были скованы этими стандартами.

Имеет смысл вспомнить, что означает понятие «поколение». У демографов — это люди, родившиеся в таком-то году (когорты возрастная). Карл Мангейм ввел термин: «социальное поколение», объединенное событием, определившим их судьбу и взгляды. Для шестидесятников это событие, конечно, XX съезд прежде всего, и «хрущевская оттепель». А туда подверстывается и Окуджава, и Белла Ахмадулина и другие поэты — атмосфера весенней оттепели в обществе. Я в этом смысле понимаю поколение.

Поколение шестидесятников — конечно, «уходящая натура». И Татьяна Ивановна Заславская написала однажды, что это поколение не востребовано. То есть в том смысле, что оно не нужно сегодня. Оно власти не нужно. Оно социальными условиями не востребовано.

Поколение не востребовано. Но что из этого следует, что мы должны делать? Правда ли, что мы — уходящие? Это не так.

Петербургский историк Лев Лурье написал: «Удачливее этой когорты (шестидесятников) в российской истории не сыскать». Это очень удачливое поколение. Почему? Потому что во многом благодаря шестидесятникам страна вышла из ниши социализма не имевшего человеческого лица. Страна вступила на путь развития вместе с другими странами. Теперь внешние факторы играют не меньшую, а такую же роль, как и внутренние. Мы уже не можем развиваться вне общемировой системы. Ни одна страна в современном глобальном мире не может развиваться изолированно от мир-сообщества, как в скорлупе.

Мы вышли из изоляции благодаря усилиям шестидесятников. Это счастливое поколение.

Григорий Явлинский:

Послесталинские репрессии оказались менее губительными для шестидесятников, чем монетократия, которая возникла с реформами.

Я отношусь к тому поколению, которое появилось после активной фазы зарождения шестидесятников. Но лично я считал для себя всегда это основой и фундаментом моего представления о жизни.

Сначала я не знал, что по этому поводу вообще сказать. Но дискуссия, которая здесь возникла, позволяет мне высказать три соображения.

Первое. На мой взгляд, шестидесятники — это, если можно так выразиться, просто приличные, неплохо образованные и часто талантливые люди. Это не относится ни к политическим взглядам, ни к идеологиям. Поэтому споры, которые здесь были, могли быть спорами людей совершенно любых взглядов. Это вообще к этому делу не относится. Это очень важно. Поэтому они, собственно, и были разные.

Но у них был стержень. У них было главное, что они приносили в любую идеологию и в любые политические взгляды. Это главное заключалось в том, что они почему-то считали, что не надо все время врать. Они говорили то, что думали. Правы они были или неправы — это другой вопрос. Но они говорили то, что думали.

Третье. Они считали, что нельзя продаваться, что продаваться стыдно и даже просто вообще невозможно. И еще они почему-то считали, что нельзя топить другого ни за какие преимущества и ни по какому поводу. Неважно, согласен он с вами или не согласен, но нельзя сделать умышленно так, чтобы он исчез, чтобы его уничтожить и утопить. Были такие люди. Они никогда, при всех разногласиях не пошли бы доносить на другого или что-то в этом роде. У них был такой фундамент, такая база. Она была чрезвычайно привлекательна.

К счастью, здесь присутствуют люди, которые всю жизнь для меня такими и оставались. Татьяна Ивановна Заславская, например. Мы с ней лично никогда не работали, но всегда был такой человек со мной рядом всю мою жизнь, когда я был студентом, аспирантом, кем бы я только ни был.

Что случилось потом? Потом случилось следующее. Реформы повели таким способом, при котором образование и порядочность стали помехой. И поскольку они стали помехой, то просто всех этих людей выкинули. Они не могли с этим бороться. Они вообще не были приспособлены для этой борьбы. Это касалось и диссидентов, и, в общем, всех. Диссиденты тоже были из этой компании. Они тоже были так устроены. Но просто их эти качества были обращены больше к политике, а у многих шестидесятников они были обращены к своей специальности или к каким-то другим частям жизни — к философии, например.

Оказалось, что репрессии советского времени (послесталинские, естественно) для этих людей оказались гораздо менее губительными, чем монетократия, которая возникла с реформами. Монетократия оказалась гораздо более мощной системой уничтожения всех этих качеств, которые я назвал. Каких? — Не надо врать, не надо закладывать другого, не надо продаваться особенно, нельзя продаться для того, чтобы кого-нибудь утопить. Новые правила жизни, которые возникли, оказались совершенно разрушительными для всей этой корпоры и для всей этой компании.

И третье, о чем я хочу сказать. У нас сегодня — очень драматическое обсуждение. Мы же почти как красную книгу обсуждаем. Мы рассуждаем примерно так: были такие люди когда-то там, что-то у них такое было, что можно не врать, каждый день, по крайней мере. Вот давайте обсудим: откуда они взялись и как это все появилось? Еще будет вторая часть обсуждения: куда они все делись?

Это такой небольшой семинар по обсуждению исчезающего вида. Это очень печальная вещь. Но можно очень твердо сказать, что без таких качеств и без того, чтобы эти качества были существенными в обществе, ничего сделать не получится. Общество просто становится нецивилизационным.

Недавно я участвовал в дискуссии, и вдруг мне было брошено в лицо: в советское время (собственно, я не несу ответственности за все советское время, даже за часть его, но тем не менее) был блат, были связи. Они предполагали продвижение. Знаете, о чем я подумал? А что, собственно говоря? Дело

в том, что блат и связи — это вообще форма человеческой цивилизации, это форма человеческого общения. Ну, не самая лучшая. А абсолютно полная продажность и подчиненность деньгам — это как раз гораздо хуже. Это то, что разваливает всякую цивилизацию и символизирует ее уход.

Я вижу в этом значительные элементы, которые делают сегодняшнюю дискуссию не просто актуальной. Они ее делают сверхактуальной. Правда, она, конечно, не может ответить на вопрос, что с этим всем делать. Но это уже другая тема.

Евгений Ясин:

Шестидесятничество было своего рода потоком освобождения сознания.

Я здесь выступаю в качестве либерала, рыночного фундаменталиста и, в общем, человека, который в некотором смысле противостоит по взглядам Михаилу Сергеевичу Горбачеву. На самом деле это не так. Я должен сказать, что в 1985–1986 годах, когда Михаил Сергеевич пришел к власти, это были, может быть, самые счастливые дни в моей жизни. Я почувствовал, что в мою страну возвращается что-то живое. И не было, мне кажется, больших сторонников Михаила Сергеевича, чем те люди, которые меня окружали. Это чувство я сохраняю до сих пор. Считаю, что наша страна очень многим обязана Горбачеву, и многие вещи, которые мне пришлось пережить, были в моей жизни благодаря ему.

Я вспоминаю дни Первого съезда народных депутатов, когда вся страна была перед телевизорами и когда, по-моему, Марк Захаров говорил: то, что мы видим на съезде, это придумать нельзя. Никакой сценарист, никакой драматург этого не напишет. Это может быть только в жизни.

Пережив эти времена, я хочу вернуться к тому, как я оцениваю происходящие в нашей стране события и шестидесятничество. Честно вам скажу, я себя считаю шестидесятником, хотя я не входил ни в какое движение, вообще жил глубоко в провинции. Приехал в Москву только в 1960 году и был студентом. Но у меня в памяти осень 1956 года, когда в одесской городской библиотеке обсуждалась книга Владимира Дудинце-

ва «Не хлебом единым». Я вдруг почувствовал, что я не один. Тут была группа людей, которые говорили то же самое, которые переживали это. На самом деле в этой книге ничего не было «против коммунизма». В ней были просто нормы порядочности. На самом деле там были нормы, которые позволяют обществу развиваться, нормы, которые двигали людьми, которые были преданы своей миссии. Это, мне кажется, очень важное начинание.

Я тогда вспоминаю также критику, которая уже с осени 1956 года стала раздаваться в адрес этой книги Дудинцева: она, дескать, не очень художественная, она весьма посредственная, неправильно подаются там какие-то события и прочее.

Я запомнил высказывание моего кумира — Константина Паустовского в «Литературной газете», когда он сказал по поводу книги Дудинцева: «Все разговоры относительно низкой художественности и т.д. — это купленные идеи. В действительности то, что писатель хотел сказать, он сказал. И все, кто хотел это понять, поняли».

Хочу сказать, что ведь эта книжка была не единственной. Я напому, первым документом, с моей точки зрения, «оттепели» и шестидесятничества была статья Померанцева в «Новом мире», которая называлась «Об искренности в литературе». Это было в 1954 году.

Кстати, Илья Эренбург потом говорил в своей книге «Оттепель»: я сознаю ее недостатки. Правда, у меня есть книжки, где недостатков гораздо больше, но я горжусь тем, что «Оттепель» она вышла в 1954 году, а не в 1956. Потому что в 1956 году уже уже было разрешено гораздо больше.

Мне кажется, что шестидесятничество было своего рода потоком освобождения сознания. И каждый раз, когда появлялись какие-то мысли, они открывали новую страницу возможного, как, например, при публикации повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и других его рассказов. Это было совершенно необычно. Люди усваивали новые идеи, они их разделяли, а некоторые «вступали в ряды шестидесятников», даже не зная об этом. Просто они начинали разделять эти новые идеи.

Мне кажется, что это было действительно освобождение от пут сталинизма прежде всего, но также и коммунизма. Это было освобождение в том смысле, что кто хотел, мог оставаться коммунистом, но кто понял, что это беда, могли думать иначе.

В Фонде «Либеральная миссия» была дискуссия, и Александр Кабаков в своем выступлении сказал: «На самом деле шестидесятники — это никто. Просто было такое аморфное движение людей, и оно начиналось, и сейчас многими воспринимается именно как литературное движение, а совсем не политическое и не общественное.» Кабаков сказал, что на самом деле, такое освободительное движение — это семидесятники. Почему? Потому что они оторвались от власти. Они поняли, что никакой союз с властью невозможен в стремлении добиться для России свободы и демократии. Но я, в отличие от Кабакова, не сомневаюсь, что, в конечном счете, движение шестидесятников — важнейший поворот в этом направлении.

Я считаю, что было постоянное развитие определенной идеологии. Это было движение элиты. Я согласен, что в действительности те люди, которые каким-то образом содействовали продвижению идей шестидесятничества, своих идей, — представлял собой очень плюралистичное движение. Но они, так сказать, способствовали этому движению, развитию страны. Потому что то, в каком она положении осталась к исходу правления Сталина, — это просто было окаменение. Было ощущение, что здесь, в этой стране, никогда и ничего больше не произойдет.

Хочу сказать относительно трактовки Юрия Афанасьева — про гибель шестидесятничества и вообще всего святого на Руси. Я с этим категорическим образом не согласен. Я считаю, что процесс постепенного раскрепощения России, который начался после смерти Сталина, собственно, продолжается. Каждый раз, если вы вспомните историю, на смену белой полосе приходила полоса черная. И даже теперь появилась такая поговорка: «Ты держись белой полосы и ходи по кромке». К сожалению, это невозможно. А полосы эти есть, что делать!

Я не считаю время Ельцина и рыночных реформ потерянным. Я, правда, считаю, что настоящим демократом, начина-

телем нового демократического движения в России был Михаил Сергеевич Горбачев. И он, как говорится, открыл линию на демократизацию в стране. Но я бы не сказал, что ему повезло, потому что был экономический кризис, потому что произошло падение цен на нефть. И многие другие обстоятельства ему препятствовали.

Я и сейчас полностью и глубоко убежден, что остро были необходимы рыночные преобразования. Долго терпеть это было невозможно. И они произошли. Сейчас говорят, что после этого вся порядочность на Руси погибла, что теперь воцарился закон золотого тельца, и мы теперь попали в такую полосу (не полосу, а может быть, уже и навсегда), что никакой порядочности не будет.

Я должен сказать, что это совершенно не соответствует действительности. Я даже жалею, что мы уже теперь не читаем Маркса и не вспоминаем многие его положения, которые, на самом деле, правильные. Диалектику можно попытаться отменить, но из этого ничего не выйдет. Просто-напросто мы сталкиваемся с тем, что, если начинается развитие капитализма, то оно будет связано с определенными негативными явлениями, в том числе, и в области нравственности. Вы можете стараться их избежать. Но если вы полностью их избежите, то вы избежите рыночной экономики.

Мне кажется, можно обсуждать вопрос, как умерить эти явления. Но чтобы без них обойтись — я в это дело не верю. Могу вам сказать честно и откровенно. Я был министром Российской Федерации и в жизни никогда чужого рубля не взял. И я там был ни один такой. Поэтому все разговоры о том, что все сплошь взяточники и прочее, — это неправда. У меня такое ощущение, что мы, в конце концов, рано или поздно придем к социальному равновесию и взаимопониманию, что абсолютно необходимо для того, чтобы это общество существовало и развивалось, занимая свое место в развитии человеческой цивилизации. Но мы должны учесть то обстоятельство, что это все происходит в реальной жизни.

У меня есть ощущение, что мы это так бурно обсуждаем потому, что приходит время, когда начинается восстановление нравственных начал, восстановление нравственного капи-

тала. Простите, то, что сейчас называется социальным капиталом, я называю культурным капиталом, когда мы должны привыкнуть друг к другу, как здесь, кстати, в этом зале. Когда мы можем разговаривать, выражая разные взгляды, а не обязательно собираться кучками, где каждый друг друга хорошо понимает и можно было бы ни о чем не говорить.

Поэтому моя позиция следующая: мы должны продолжать споры о прошлом, но одновременно и думать о том, что перед нами будущее. Я бы хотел, чтобы это было будущее свободной, демократической страны.

Людмила Телень:

Шестидесятники выросли из предшествующих поколений российской интеллигенции и прорастут в следующих поколениях.

Однажды прекрасный журналист и шестидесятник Валерий Аграновский написал, что в каждом времени есть свое Средневековье. Переиначив эту фразу, я бы сказала, что в каждой эпохе есть свои шестидесятники.

Применительно к России это, безусловно, так.

Шестидесятниками называют российских интеллигентов, на долю которых выпала жизнь в послесталинскую эпоху.

Поэтому мой взгляд на судьбу и роль шестидесятников в нашей истории — оптимистический: они выросли из предшествующих поколений российской интеллигенции и прорастут в следующих поколениях.

На мой, взгляд, интересно было бы понять те механизмы, с помощью которых ценности шестидесятников передавались (а они передавались!) следующему поколению российских интеллигентов.

Ясно, что это, прежде всего, семья. Те люди, которые сегодня здесь представляют поколение шестидесятников, или те люди, которых мы вспоминаем сегодня как шестидесятников, безусловно, передали свои ценности детям, друзьям своих детей, даже внукам.

Другое — это формальные институты. Например, научные школы. Многие из них сохраняли ценности шестидесятников, и эти ценности формировали личности в следующем поколении ученых. Достаточно вспомнить ЦЭМИ, где работали Шаталин, Петраков, Волконский, вырастившие плеяду блестящих российских экономистов, для которых ценности шестидесятников были и остаются нравственным ориентиром.

Примерно такой же была атмосфера лучших редакций страны. «Известия», «Комсомолка», «Новый мир», позже — «Огонек» и «Московские новости».

Подтверждение тому, что ценности шестидесятников были определяющими в этих редакциях, которые, в свою очередь, формировали профессиональные критерии в журналистском сообществе в целом, — это тот расцвет, который пережила журналистика в годы перестройки. Если бы шестидесятники, тогда еще активно работавшие в СМИ и политике, не смогли опереться на своих учеников и последователей, российская пресса не сумела бы совершить тот скачок, который она совершила.

Я пришла в «Комсомольскую правду» в самые чудовищные для нее годы, когда главным редактором был Валерий Ганичев. Там, казалось, было задавлено все живое. Но рядом работали шестидесятники — Валерий Аграновский, Инна Руденко, Ярослав Голованов, Ольга Кучкина, Лидия Графова, Юрий Рост. Это была абсолютно параллельная реальность. С одной стороны, ЦК КПСС с его пропагандистскими установками, с другой — принципиально иная школа ценностей, заданная шестидесятниками. Но для журналистов 80-х эта шкала была главной.

Тут говорилось, что второе пришествие шестидесятников в общественную жизнь конца 80-х было для многих из них поражением. Я думаю, что это не так. Просто постепенно они уходили на вторые роли, передавая дело, которому служили следующему поколению.

Скажем, это, безусловно, относится к газете «Московские новости», в которой я проработала 15 лет и которая стала тем местом, куда пришла целая плеяда шестидесятников в конце 80-х. Егор Яковлев, Лен Карпинский, Владимир Шевелев, Оль-

га Мартыненко... Тесно сотрудничающие с газетой Юрий Афанасьев, Александр Гельман, Юрий Левада, Евгений Ясин, Юрий Рыжов и многие другие. Эти люди были определяющими для газеты, и это они вырастили то поколение, которое продолжило в журналистике их дело в 90-е и нулевые. И — должна сказать — продолжает до сих пор.

Кончено, это поколение «постшестидесятников» росло в некоторой конфронтации с «отцами» — и это тоже нормально. Это спор людей, у которых общие ценности, просто «дети» переосмысливают их применительно к тем общественным реалиям, в которых они живут и работают.

Все повторяется. И те же ценности, которые были дороги шестидесятникам, я вижу и у совсем молодых — у сегодняшних студентов, которым читаю лекции в Высшей школе экономики. Из них вырастет новое поколение, новая генерация российских интеллигентов, в которых будет угадываться верность все тем же ценностям, которые были дороги шестидесятникам. И это поколение уже вполне действующее.

Я уверена, что связь времен в этом смысле не прерывается и не прервется.

Григорий Алексеевич Явлинский когда-то сформулировал черты, определяющие национальную элиту. В классификации Явлинского пять пунктов. Первый — это мозги, качество мысли, качество мышления. Второй — это внутренняя независимость. Третий — это способность влиять на общественное мнение. Четвертый — это профессиональная состоятельность, профессионализм. Профессионализм в том смысле, что деньги — не главная мотивация. И, наконец, это ощущение того, что ты и твои дети будут жить именно в этой стране.

Виктор Кувалдин:

Феномен шестидесятников заключается в их отношении к наследию Октября.

Шестидесятники, шестидесятничество — это конкретный исторический феномен. Его значение определяется теми задачами, которые выпали на их долю. Они действительно долж-

ны были ответить на проклятые вопросы русской истории XX века. Характерная особенность этого поколения определяется двумя обстоятельствами. Первое — страна, в которой они жили. И второе — время, которое выпало на их долю.

Как мне представляется, основной момент, определяющий это поколение, сам феномен, заключается в отношении к наследию Октября, этому великому, грандиозному эксперименту, который был начат в нашей стране в 17-м году. Собственно, вся советская история была построена на том, чтобы осмыслить, определить свое отношение к этому поворотному событию XX века и сделать соответствующие практические выводы.

Кстати, сколько вообще было поколений советской истории? Как мне представляется, три. Эта мысль прозвучала здесь. Я согласен с таким делением. Поэтому думаю, что шестидесятники — не первое советское поколение. Действительно первое советское поколение — это поколение до 28-го года. Оно полегло на войне, совершило свой подвиг и выполнило свою историческую миссию.

А шестидесятники — срединное советское поколение, люди 1928–1945 годов рождения. Хотя я бы тоже очень осторожно употреблял понятие — поколение. Почему? Скажем, в одной из коротких заметок о войне я неожиданно встретил такое наблюдение, связанное с историей Великой Отечественной войны. Было две разных модели поведения. Первая — дивизии, армии, фронты, которые разваливались буквально на глазах. Сегодня они есть, а завтра их нет. И вторая — воинские части и соединения, которые дрались до конца, до последнего солдата.

Пытаясь разгадать эту загадку, автор заметки стал искать ключ: почему так произошло? Мне кажется, что он нашел очень интересный, очень интригующий ответ. Он пишет, что по своему составу первые были деревенские дивизии, а вторые — городские. Деревня, которая прошла через мясорубку сталинской коллективизации, собственно, уже к войне во многом этот строй отринула. Во всяком случае, ложиться за него костями она не хотела.

А вот город, который получил много от сталинской модернизации, — здесь была создана современная индустрия, современная культура, современная интеллигенция, современное чиновничество, современная армия, — был готов стоять до конца. Потому что для горожан это была их страна, и у них было, что защищать.

Позвольте напомнить, что была еще одна часть этого «срединного» поколения. Люди, которые в условиях Великой Отечественной войны взяли оружие в руки для того, чтобы бороться с Советской властью. И их было не так мало. По некоторым подсчетам, до полутора миллиона человек. Если мы вспомним, что вся Белая армия насчитывала 500 тысяч, то более адекватно представим себе масштаб этого явления. Фактически в рамках Великой Отечественной войны прошла вторая гражданская *мини война*. Правда, она оказалась скрытой той великой, большой войной.

Вернемся к шестидесятникам. Выработывая свое отношение к Октябрю, они по существу отвечали на вопрос всемирно-исторического значения, поскольку Октябрь предлагал формулу жизнеустройства не только для нашей страны, а для всего мира. Большевики ведь брали власть не для того, чтобы строить социализм в одной отдельно взятой стране. Это появилось потом. А тогда, в 1917-ом, большевики брали власть, чтобы создать плацдарм мировой революции, перенести революционный пожар в разоренную войной Европу. И весь мир обустроить таким же образом.

Я бы сказал, что шестидесятники — это поколение советских людей, ревизовавших советское наследие. Они прошли весь этот путь сомнений, разочарований, прозрений. И, пожалуй, самая главная особенность, характеристика этого поколения заключается в том, что оно его прошло вместе со своей страной. Шестидесятники вывели Советскую Россию из тупиков государственного социализма. Далее их пути разошлись.

Здесь затрагивался вопрос о том, как соотносятся шестидесятники и диссиденты. Думаю, что диссиденты — особый, малый сегмент шестидесятничества. Основная линия водораздела прошла следующим образом. Как мы будем действовать? Мы опрокинем эту систему, мы разрушим ее до основа-

ния, а затем..? Или же мы будем работать внутри нее, пытаюсь ее изменить? Вот, собственно, где линия размежевания.

Мне пришлось присутствовать на презентации новой книги Людмилы Евгеньевны Улицкой «Зеленый шатер», где она пишет об этом поколении и рассказывает, в частности, о диссидентах. Когда я к ней подошел, чтобы подписать книгу, она сказала, что сделает это с удовольствием. Я заметил: «Людмила Евгеньевна, не буду играть с вами в прятки: я из другой «конюшни». Я никогда не был в этом лагере просто потому, что считал, что в наших условиях это бесперспективно». На это, мне кажется, она дала очень достойный ответ: «Но они показали моральный пример». С этим, по-моему, не поспоришь.

Вопрос о периоде между «оттепелью» и горбачевской Перестройкой. Я тоже не считаю, что они наглухо разорваны брежневским «застоем». По-моему, есть глубокая преемственность: начиная с самого Михаила Сергеевича люди протаскивали этот мяч по всему полю... Не могу их представить без XX съезда, без «оттепели» и без всего того движения, внутренне-го, интеллектуального освобождения, которое получило мощную подпитку именно тогда при Никите Сергеевиче Хрущеве, что бы потом там дальше ни произошло.

Хочу здесь обратить внимание на два важных момента. Не все же определяется политикой. Есть и другие вещи. Скажем, самым уязвимым местом в перестроечной политике, как мне представляется, была экономическая реформа. Ее издержки во многом подкосили перестройку, и в итоге они стали одной из основных причин ее трагического финала.

В этой связи интересные наблюдения сделал в одной из своих статей Наум Коржавин. Он заметил, что Михаил Сергеевич Горбачев фатально разошелся во времени с Иваном Денисовичем — героем повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Мне кажется, это очень глубокая мысль. Потому что я помню по своему детству, что в 50-е годы еще были полнокровные колхозные рынки, где сельские труженики торговали плодами своего труда. И для людей в городах это был не менее важный источник снабжения продуктами питания, чем государственные магазины. В деревне царили колхозы, но еще сохранилась трудовая этика человека, работающего на

земле. Еще сохранился крестьянин. А когда пришел Михаил Сергеевич, как мне представляется, такой человек уже исчез как класс. Он был вытравлен советской системой. И это огромная проблема — отношение к труду стало настоящим камнем преткновения.

И второе. В годы безвременья, 70-е годы, формировалось третье поколение советской истории. Эти молодые люди, в отличие от шестидесятников, которые прошли весь путь сомнений, начинали правоверными коммунистами, даже сталинистами и постепенно-постепенно шли к отрицанию сталинской системы. Так вот очень значительная часть третьего поколения, продукта прогрессирующего разложения системы, вступала в жизнь более или менее законченными циниками. Здесь, по-моему, во многом кроется ответ о том, что произошло в финале перестройки и после нее. Здесь же кроется одна из важнейших причин, почему сегодня не хотят возвращаться к серьезному разговору о перестройке... Тому есть много политических причин, но, как мне кажется, есть и эта, очень веская причина.

Шестидесятники — конкретный исторический феномен. Они отвечали на фундаментальные проблемы своего времени. А задача их времени заключалась в том, чтобы выйти из тупика государственного социализма, аккуратно трансформируя систему в нечто более жизнеспособное. Ведь нам свободу не принесли на чужих штыках, как это случилось, скажем, в Германии или Японии. И за это надо было заплатить немалую цену. Но, конечно, цена не должна была быть столь запредельной. Здесь я не совсем согласен с Евгением Григорьевичем Ясиным. Он справедливо отметил: начало капитализма не бывает другим. Да, действительно, как правило, это время дикой вакханалии, частнособственнических страстей. Именно в это время проверяется качество национальной элиты, ее способность как-то этому противостоять. У нас она этот экзамен провалила полностью, что не удивительно. В ее рядах тон задавали люди, которые обрели власть и собственность на костях своей собственной страны. К сожалению, им это сошло с рук. По-моему, это страшный урок политической безнравственно-

сти, последствия которого нашей стране придется изживать еще очень долго.

Александр Даниэль:

Шестидесятники — сообщество, объединенное общей системой ценностей и общим способом ответа на вызов истории.

Так много всего было сказано и много было сказано интересного и сказано интересно, и много из того, что я хотел говорить, уже в разных отдельных репликах звучало.

Мне запомнилась фраза Руслана Гринберга: нужна теория. Я хотел бы не согласиться с этой фразой. Прежде теории, конечно, нужны были дефиниции. В нашей дискуссии мы, по моему, блуждаем в трех соснах определений. В результате одни говорят, что шестидесятники — это люди, приверженные идее коммунизма. Ищут границы этого сообщества через комплекс идей — за это высказывался Вадим Межуев. Юрий Афанасьев строит какую-то не вполне понятую мною оппозицию — шестидесятники-диссиденты и даже оппозицию диссиденты-правозащитники. Виктор Шейнис, наоборот, пафос шестидесятничества сводит в значительной степени к пафосу диссидентства.

А все дело в том, что просто каждый понимает под термином шестидесятники то, что ему хочется понимать, и дальше работает с этим определяемым им самим сообществом. Было несколько неожиданных для меня мыслей. Например, что Быков и Абрамов — маргиналы в шестидесятничестве. Ничего себе маргиналы! Юрий Афанасьев говорил о том, что Александр Мень тоже выламывается из шестидесятничества. А по моему, совершенно не выламывается. А если я, например, рискну сказать здесь, что Палиевский, Кожанов и Олег Михайлов тоже были шестидесятниками, то, думаю, меня немедленно освищут.

Это все вопрос дефиниции, а дефиниции как таковой нет. Поэтому я бы предпочел работать в том ключе, который предложила Ольга Здравомыслова в самом начале нашей дискуссии. Я имею в виду следующее: Попробуем определить сооб-

щество через его исторический опыт, через тот исторический опыт, который его формировал. И попробуем определить его через ответы на вопросы, которые ставит перед нами русский XX век.

Какой исторический опыт? Если мы будем говорить о поколении, то это опыт Великой Отечественной войны, это опыт послевоенного террора, это смерть Сталина и XX съезд. Этого решительно мало. Кто может исключить из сообщества шестидесятников, например, Льва Копелева, а его исторический опыт гораздо шире. Или Петра Григорьевича Григоренко, а его биографический опыт еще шире. Алексея Евграфовича Костерина и многих других. Это с одной стороны. То есть совершенно явно, что в это сообщество входят люди гораздо более старшего поколения. С другой стороны а могу, например, я, которому в 60-м году было девять лет, а в 70-м — соответственно, девятнадцать, рискнуть назвать себя шестидесятником?

Я даже знаю тех, которые родились в 70-е годы и которые совершенно отчетливо причисляют себя и в культурном, и в мировоззренческом смысле к этому же самому сообществу.

Мне кажется, что все-таки надо искать, во-первых, ответы на вопрос: какой исторический опыт формирует этих людей. Это уж как минимум революция, гражданская война, террор 30-х, подавление свободы в 20-е. И те события, которые я уже перечислил выше. Я совсем не исключаю, что есть еще какие-то шестидесятники, которые сейчас ходят в первый класс...

М.С. Горбачев: Это же хорошо.

А.Ю. Даниэль: Мне тоже кажется, что хорошо. Давайте попробуем понять, в чем специфика этого сообщества. Вопросы, которые задает нам российская, советская история XX века, понятны. Как можно характеризовать ответы на эти вопросы, которые дало трудноопределимое сообщество шестидесятников. Я не рискну их формулировать в точной терминологии.

Но мне кажется, что это, во-первых, это ориентация на свободу как ценность. И, во-вторых, ориентация на то, что принято раньше было называть «простые человеческие ценности»: дружба, любовь, солидарность. Я знаю, что есть еще

термин общечеловеческие ценности. Мне кажется, Михаил Сергеевич, что это те же самые простые человеческие ценности, только поднятые на уровень политического фактора.

М.С. Горбачев: В связи с экологией они приобрели такие масштабы. Это всемирно, глобально. В связи с ядерной угрозой. Это же всех касается.

А.Ю. Даниэль: Это так, конечно.

М.С. Горбачев: И всей жизни касается.

А.Ю. Даниэль: Это действительно так. В 60-е годы об этом писалось...

М.С. Горбачев: Это было сказано мною на Иссык-Кульском форуме в 86-м году. Я вернулся из Рейкьявика. И до сих пор я оправдываюсь, доказываю.

А.Ю. Даниэль: А зачем оправдываться? Вы гордитесь!

М.С. Горбачев: Почему ты обошел Явлинского? По-моему, у него очень хороший, ценностный подход.

А.Ю. Даниэль: Очень хорошо говорил. Но Георгий Алексеевич — настоящий политик, там не за что зацепиться.

М.С. Горбачев: Это называется — ты «похвалил» его.

А.Ю. Даниэль: Я похвалил, конечно. Я вспоминаю один замечательный эпизод из мемуаров присутствующего здесь Сергея Адамовича Ковалева, когда он описывает какое-то заседание биолого-математического семинара, который ведет Гельфанд. И вдруг все начинают собираться-собираться-собираться и куда-то бежать.

— Куда это вы все побежали? — спрашивает Израиль Моисеевич Гельфанд.

Говорят:

— Окуджава выступает в Политехническом клубе.

— Так что вам важнее, — спрашивает Израиль Моисеевич Гельфанд, — семинар или Окуджава?

— Ну что Вы, Израиль Моисеевич, конечно, Окуджава, — говорят все его ученики и бегут. И он за ними следом в конечном итоге бежит.

Случайно ли, что именно Булат Окуджава бесспорным символом этого явления «шестидесятники»? А что такое Окуджава в культуре? Это певец простых человеческих ценностей.

Шестидесятники — это группа людей, составленная из разных поколений, у которых опыт формировался историческими трагедиями, прежде всего войной и террором. Поэтому очень часто политика для них — это зачумленная область.

Я очень хорошо помню эту формулу в устах своих родителей, в частности моей матери, Ларисы Богораз. «Политика — это зачумленная зона, ее нельзя касаться», — говорила она. Поэтому надежный и твердый фундамент для какой бы то ни было активности — профессиональной, общественной, любой — это эти самые простые человеческие ценности. И это обязательный императив — стремление к свободе.

Мне кажется, что это и есть формула шестидесятничества, какую можно было бы дать. На вопрос Ядова — собственно, это был не вопрос, а некое сомнение в том, что можно ли говорить о шестидесятниках как о поколении, — с уверенностью можно дать ответ: нет, нельзя. Конечно, это не поколение. Конечно, это не сумма идеологических предпочтений. Конечно, это, скорее всего, некое сообщество, объединенное общей системой ценностей и общим способом ответа на вызов истории.

Дальше возникает вопрос: а что же стало с этим комплексом идей, я бы сказал: с мироощущением? Я даже не рискну сказать слово «миропонимание». Потому что миропонимание было разным. И это многие отмечали. А именно мироощущение, замешенное на этом стремлении к свободе, освобождению и на этих самых ценностях.

Мне кажется, если говорить о том, что же все-таки шестидесятничество, — это некий золотой фонд для нас, или это река, впадающая в пески? Ответить на этот вопрос можно, только ответив на вопрос: а исчерпана ли повестка дня, справились ли мы с теми вызовами, которые перед нами поставила российская история? На мой взгляд, мы с этими вызовами до сих пор не справились. Мы до сих пор не освоили и недостаточно поняли наследие сталинизма, наследие террора, наследие революции, наследие войны. Пока мы с этим не справились, шестидесятничество в тех или иных его формах всегда будет актуальным. Да мы и видим, что оно на самом деле актуально. Вспомните дискуссии 90-х годов вокруг шестидесятни-

чества, в основном вокруг шестидесятничества в культуре. Одни яростно нападали на шестидесятников, другие также яростно их защищали. Некоторые даже писали большие публицистические романы, посвященные исключительно этому вопросу. Например, Галковский «Бесконечный тупик». Только ради того, чтобы обличить шестидесятников. Так разве обличают с такой яростью и страстью то, что неактуально? Много ли тем существует в нашей жизни, на которые собралась бы такая толпа, какая собралась на нашу конференцию?.. Все остается актуальным. И жить нам, и жить с этим шестидесятничеством еще, по-видимому, довольно долго.

Еще один вопрос, который тоже возникал в дискуссии: соотношение между шестидесятничеством и диссидентством. В чем, мне кажется, Юрий Николаевич Афанасьев, простите меня, Ваша ошибка? Мне кажется, Вы рассматривали этот вопрос в статике. И поэтому возникали конструкции: отдельно то, отдельно другое. На самом деле в динамике развития, в диахронии все становится на свои места. Конечно, шестидесятничество, которое возникло в самом непосредственном и самом прямом смысле слова как ответ на проблему сталинизма, после XX съезда формировалось, проявляло себя в нескольких формах. В публичной и официальной прессе оно себя проявляло. Но изначально тема сталинизма (кто-то уже говорил) была поставлена в крайне жесткие рамки в официальном, публичном обсуждении.

Хочу напомнить, что употребление слова «сталинизм» было уже обозначением нелояльности, даже в хрущевскую эпоху. Полагалось говорить: культ личности. Старым большевикам на XXII съезде иногда разрешалось употребить слово сталинщина. Но термин сталинизм, который нес в себе некое представление о системности явления и требовал анализа, был абсолютно запрещен к официальному употреблению, цензура его вычеркивала из статей. А после 64-го года уже все слова исчезли из официальной подцензурной сферы — и сталинизм, и сталинщина, и культ личности. В публичной сфере его почти не существовало, за исключением, конечно, двух вещей — за исключением художественной литературы (где всякими аллю-

зиями, все больше и больше языком Эзопа говорили об этой теме), и кинематографа.

Но проблема-то не исчезла. И она не исчезла из публичной сферы. Просто публичная сфера стала другой. К тому времени уже существовал механизм самиздата. Кстати, тоже дар шестидесятничества в нашей культуре. И именно туда ушла рефлексия по поводу сталинизма. И вообще вся серьезная рефлексия по поводу российской истории ушла туда.

Диссидентство и правозащитное движение, которое на самом деле, конечно, не было никаким правозащитным движением в том смысле, в каком оно сейчас существует, было просто движением протеста против политических преследований. И ровно этой темой оно ограничивалось, редко-редко выходя за пределы этой темы.

Я хочу напомнить, что первый документ — свидетельство о рождении правозащитного движения — это так называемое гражданское обращение — листовка, которую Александр Есенин-Вольпин и его товарищи распространяли, чтобы собрать публику на митинг гласности на Пушкинской площади 5 декабря 65-го года. Так вот в этом документе есть прямая отсылка к опыту исторического прошлого. Там сказано примерно следующее: «в прошлом наше молчание стоило жизни миллионам наших сограждан...»

Мысль простая: диссидентство — это просто шестидесятничество, вытесненное в сферу самиздата.

Наталья Иванова:

70-е — начало 80-х были подготовкой к тому, чтобы второй шанс шестидесятников мог быть реализован.

Александр Даниэль говорил об общечеловеческих ценностях. В Перестройку, услышав это словосочетание по советскому телевидению, я поняла, что наступила новая эпоха, новое время. Потому что общечеловеческие ценности — это то, что несовместимо с железным занавесом, изоляцией, что открывает нас миру, и мир — нам. Потому и называется — общечеловеческие ценности.

Недаром Юрий Домбровский, которого можно тоже назвать шестидесятником, назвал свой роман, который не мог издать в стране и который был впервые издан в 75-м году в Париже, — «Факультет ненужных вещей». Общечеловеческие ценности — то, что в те времена было названо «ненужными вещами». Свою книгу, одну из первых книг нашего общего нового времени, я назвала по аналогии: «Воскрешение нужных вещей». То, о чем мы говорим в связи с шестидесятниками — это тоже «воскрешение нужных вещей», с приятием (или неприятием) которых очень многое связано в нашем обществе.

В то же время, «шестидесятники» сделали сегодня международной темой. В конце прошлого года в Варшаве состоялась международная конференция, посвященная шестидесятникам. Она называлась «Оттепель»: шестидесятники, русская культура, литература, наука в 60-е годы XX века». На конференции, конечно, выступали наши соотечественники Игорь Виноградов («Кто такие шестидесятники. Их роль в русской культуре. Что после них осталось, осталось ли?»); Александр Архангельский («Философы, социологи, историки 60-х годов»). Лев Аннинский («Три шестидесятника: Окуджава, Юлиан Семенов, Георгий Владимов»). Тема моего выступления была — «Юрий Трифонов, Фазиль Искандер: стратегия творческого поведения».

Если взять за точку отсчета 60-х годов появление в «Новом мире» (номер 12 за 1953 год) статьи Владимира Померанцева «Об искренности в литературе», то становится очевидным — журнал «Новый мир» стал тем, что объединяло маленькие группы на кухнях — или открытые, или закрытые. Читали и обсуждали все. И это уже была среда, которая формировала общность. Публикации в журнале и их коллективное обсуждение — это было нечто вроде Интернета для сегодняшних молодых людей.

Шестидесятникам выпал двойной исторический шанс. Один шанс — период 60-х (с 1953-го до 1964-го или 1968-го — есть разные определения). А другой шанс — это исторический шанс новой эпохи, открытый весной 1985-го и с 1986-го года, когда Михаил Сергеевич Горбачев назначил новых глав-

ных редакторов в журналы «Новый мир» (Сергей Залыгин), «Знамя» (Григорий Бакланов), «Огонек» (Виталий Коротич). Это резко изменило ситуацию. Потому что у нас, — как писал Натан Эйдельман, которого тоже можно назвать шестидесятником, — как правило, революция осуществляется сверху. Если бы не было этой революции сверху, я не знаю, сколько бы еще вываривались идеи шестидесятничества для того, чтобы они смогли победить. Но «низы» тоже были исключительно готовы к восприятию этих идей. То, что называется «разные слои» — и диссиденты, и те, кто приходил в литературу через сам- и тамиздат или через песню, как Булат Окуджава и Александр Галич, — были уже к этому моменту готовы. И общество было готово. Существует точка зрения, что тогдашнее советское общество существовало в исторической паузе, впало в анабиоз, в спячку, провалилось во «время между»...

Я так не считаю. Я считаю, что 70-е — начало 80-х были подготовкой к тому, чтобы второй шанс шестидесятников мог быть реализован. В этом, конечно, была огромна и неопределима роль художественной культуры, которая постепенно освобождала себя и общество от страха. И это постепенное, осторожное освобождение шло, в том числе, и через эзопов язык. «Дом на набережной» Юрия Трифонова говорит о сталинизме, может быть, больше, чем те книги, которые появились и были написаны в наше, более свободное время. Хотя в этой книге Трифонова нет ни слова «Сталин», ни слова «сталинизм».

Я написала две монографии о шестидесятниках. Первая — о Трифонове, вторая — об Искандере. Искандер просто придумал великолепную формулу — *время, в котором стоим*. — Он не написал прямо, что это у нас, мол, застой, но дал формулу, метафорическое, емкое определение того, что происходило со страной.

Можно сказать, что шестидесятники создавали новый антропологический тип. Борьба человеческих типов существовала и существует сегодня. Подчеркну, что эта борьба шла через литературу. Началось новое время, которое, конечно, унаследовало противоречивость предыдущего — которое я

называю первым шестидесятничеством. Кроме «Нового мира» возникли «Юность», вокруг которой формировался новый срез литературы — Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Фазиль Искандер и многие другие. Было необыкновенно противоречивое время.

Когда наступил второй шанс шестидесятничества, было уже другое время. И если шестидесятники не проходили через то, что Юрий Афанасьев назвал метанойей, то второй шанс они себе не обеспечивали. Оставались застрявшими — в том времени. В новом времени для них уже не было роли. Потому что в новом времени были востребованы другие вещи. *Если шестидесятники не преодолели свое шестидесятничество, то они не могли уже быть в новой эпохе, в том числе и в литературе этой новой эпохи* (Евгений Евтушенко, например).

Шестидесятничество вырабатывало новый язык — не только эзопов, но именно новый язык. И если оно не развивало этот язык, то в дальнейшем оно деградировало: романы становились все хуже и хуже, фильмы — слабее и слабее, смех, который был полуподпольный, куда-то растворялся и исчезал. Поэтому была и *драма поколения*, а не только *победа поколения*.

Хорошо помню, как первый раз поехала за рубеж на конференцию в Луизиану под Копенгагеном, в марте 88-го. Это была первая встреча эмиграции и метрополии. Писатели «с той стороны»: Синявский, Розанова, Гладилин, Аксенов, Копелев, Раиса Орлова, Эткинд. «С этой стороны» — Искандер, Дудинцев, Бакланов, Алексей Герман, Юрий Афанасьев, Наталья Иванова. Было ощущение, что два мира увидели друг друга. Если бы не произошло 85–86-го годов, может быть, они еще сто лет — то есть никогда — не встретились бы.

Общий язык был найден очень быстро. И хотя Юрий Афанасьев шутя сказал: «Вы живите здесь за нас, а мы будем там — за вас», тем не менее «они» начали приезжать, многие из «них» возвращались, а «мы» стали ездить на Запад. Этот взаимообмен и кровотоки привели к тому, что действительно был сделан новый шаг к свободе. Свободе от страха — это и есть главная обретенная *общечеловеческая ценность*.

Великая Отечественная война — то, что формировало шестидесятников. А мы вспомним позднего Булата Окуджаву с его уравниванием сталинизма и германского фашизма. Вспомним писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, который застрелился. Это говорит о том, что необычайно сложным было для поколения перейти к каким-то новым ценностям. Перейти внутренне — от принадлежности к поколению советских людей — к принадлежности поколению людей постсоветских. Это самый трудный переход — особенно для пишущих людей.

Я могу все это, что произошло в наше время с литературой, уподобить известному сюжету из романа Ивана Гончарова «Обыкновенная история», только наоборот. Потому что у нас шестидесятник Адуев-старший был и остался романтиком. А следующий по поколению, племянник Адуев-младший сразу был циником. Поэтому у нас в этой паре «Адуев-старший — Адуев-младший» все получилось наоборот. Я говорю о восторжествовавшем во многих областях нашей жизни цинизме, который проявляет себя и в культуре. С другой стороны — о романтическом консерватизме тех художников-шестидесятников, многие из которых остались на своих позициях, как бы застыли, а значит — «поехали назад».

Поэтому наш сегодняшний разговор очень важен — в нем есть очень много, о чем стоит думать и говорить.

Дмитрий Маслов:

Мы до сих пор продолжаем бороться со своей историей, вместо того, чтобы попытаться ее понять.

Неоднократно звучало, что шестидесятничество с трудом поддается определению. И с этим можно согласиться. Возникают вопросы и по поводу возможности отнесения к шестидесятникам тех или иных персоналий. Тем не менее есть в мировоззрении шестидесятников составляющая, практически не озвученная на конференции, но, на мой взгляд, весьма важная. Речь идет о критическом отношении представителей шестидесятничества к советской истории (а у некоторых и к отечественной истории в целом).

Начиная с 1950–60-х гг., пока еще в духе хрущевского доклада на XX съезде КПСС, в умах шестидесятников утверждается негативное восприятие послеленинской истории СССР. Казалось бы, оттепель породила определенные надежды, но, как оказалось, ненадолго. Брежневский период, позднее окрещенный застойным, еще больше усилил недоверие шестидесятников к истории своей страны, спровоцировал более активные поиски общественного идеала на Западе, усилив либеральную составляющую мировоззрения шестидесятников. Уже в годы перестройки критика сталинизма довольно быстро перерастает в негативистское отношение к отечественной истории как концентрации насилия и бесправия.

И по сей день в общественных дискуссиях на исторические темы (в т.ч. и с участием шестидесятников) определяющим нередко становится посыл осуждения собственной истории, поиска «виновных», подбора к ним эпитетов, соответствующих «тяжести содеянного». Мы до сих пор продолжаем бороться со своей историей, вместо того, чтобы попытаться ее понять. В результате мы остались, по сути, обществом без истории.

Конечно, сказанное не означает, что мы должны бездумно восхвалять всё, происходившее в России когда-либо. Но обсуждая сегодня вопрос о преемственности «дела шестидесятников» мы обнаруживаем деструкцию тех нравственных идеалов, которые в свое время породили это явление. Для того, чтобы увлечь молодежь идеалами добра, справедливости и прав личности нам самим предстоит дать ответ на вопрос не только о том, *что и как* у нас было, но и о том, *что мы имеем сегодня*. Какие проблемы мы решаем, какое общество хотим построить. Это не значит, что следует свернуть историческую критику. Но это значит, что пора от бесконечных сетований на «проклятое прошлое» обратиться к проблемам дней сегодняшнего и завтрашнего. В этом, на мой взгляд, и состоит возможность зарождения явления, продолжающего лучшие традиции шестидесятничества.

Петр Федосов:

В каждом поколении — и в 60-е и в 70-е и в последующие годы — те, кто ратовал за гуманистические перемены, составляли меньшинство.

Я не сторонник того, чтобы понятие «шестидесятники» расширять до бесконечности, включая в него людей совершенно иных эпох. В моем понимании шестидесятники — это люди, которые после XX съезда в той или иной форме, но обязательно вслух заявили о желательности и необходимости перемен в направлении к гуманизму, гуманистических перемен. При этом гуманизм они понимали по-разному. Одни связывали это понятие с коммунистическими идеалами, другие — с христианскими, третьи — с либеральными и т.д. Но общим знаменателем был именно гуманизм, расширение пространства свободы, пространства индивидуальности. В условиях 60-х годов это стремление естественно и решительно противостояло практике позднего сталинизма, в которой все эти люди сформировались и выросли.

Что произвели шестидесятники? Они произвели тексты в литературе, науке, киноискусстве, театральном искусстве. Эти тексты зажили своей жизнью и стали тем, на чем в следующем поколении советской интеллигенции сформировались группы, ориентированные на гуманистические преобразования.

Тут бы я хотел сказать одну вещь, дискутируя с теми, кто говорил, что 70-е годы были годами потерянными. Нет, в эти годы произошли чрезвычайно большие, глубинные изменения. Прежде всего, с окончанием массового террора ушел мертвящий всеобщий страх. Репрессии остались, от них пострадали конкретные люди, но массовый террор, который касался миллионов, прекратился. И это дало возможность для формирования приватного человека, для того, чтобы и в семье, и на кухне, и в общении с друзьями, и в чтении тех самых текстов, о которых говорилось выше, выростала политическая армия тех преобразований, которые связаны с именем Горбачева.

Эта армия была внутренне чрезвычайно неоднородна, но она была. Вспомните многотысячные демонстрации в Моск-

ве, Ленинграде и других городах, в которых многие из нас принимали участие.

Где сейчас эта армия? Во-первых, конечно, она дифференцировалась, из нее сложились совершенно разные по политической направленности политические группы. Во-вторых, она была деморализована и политически уничтожена тем, как проходили экономические реформы, а также событиями сентября-октября 93-го года. В сознании огромного количества тех людей, которые шли в перестроечных демонстрациях, именно эти события разрушили и веру в правоту реформаторов и мотивацию политического участия в целом. Когда «реформаторы» начали палить по парламенту из танков, очень многие сказали себе: это не реформы, это не то, в чем я готов участвовать.

Здесь, кстати, нужно сказать одну достаточно очевидную вещь. В каждом поколении — и в 60-е и в 70-е и в последующие годы — те, кто ратовал за гуманистические перемены, составляли меньшинство, в процентном отношении хотя и растущее, но не очень-то значительное. Этому меньшинству противостояла значительно большая по численности, но тоже составлявшая меньшинство, когорта тех, кто активно «давил и не пуцал». И оба меньшинства окружало извечно пассивное большинство, настроения которого в зависимости от ситуации склонялось в пользу то одной, то другой стороны. У обоих меньшинств, и у большинства есть свои политические наследники, которые борются за власть, захватывают или теряют ее, а некоторые удерживают очень даже долго.

Что же получилось, из того, к чему звали шестидесятники? Начну с того, что явно не получилось: общество не стало справедливее, а справедливость в той или иной форме входила в трактовку гуманизма у всех отрядов шестидесятников. Более того, сегодня российское общество представляет собой уникальный в современной Европе образец вопиющей социальной несправедливости, с огромным и все растущим разрывом между неправедно нажитым богатством незначительного меньшинства и бедностью или полубедностью большинства.

Со свободой сложнее. Конечно, сегодня Россия несравненно свободнее, чем в 60е годы, но вот уже второе десятиле-

тие она топчется в этом отношении на месте, а то и откатывается назад. К счастью сохраняются в основном те свободы, появление которых в России напрямую связано с горбачевскими реформами: свобода совести, отсутствие идеологического диктата, свобода искусства, свобода общения с окружающим миром, а также относительная свободой потребления, которой мы, может быть, обязаны отчасти Гайдару, а скорее, высоким ценам на нефть на мировом рынке. Пока этот набор и объем свобод по большому счету, в целом удовлетворяют очень значительную часть, а может и большинство нашего общества. Отсюда те высокие проценты поддержки власти, которые мы видим на выборах. Отсюда очень спокойное отношение этого большинства к явной неспособности власти решить проблемы, которые, по ее же признанию, душат Россию.

Но означает ли это, что мы в тупиковой ситуации? Я так не считаю. По общей закономерности («пирамида потребностей» Маслоу), по мере того, как удовлетворяются одни потребности, формируются и вызревают другие — высшие. Потребность в справедливости, в самоопределении, в жизненной перспективе для себя и своих детей. Поэтому застой, топтание на месте и откат назад, которые сегодня большинство общества еще терпит, завтра станут для него неприемлемым и нетерпимым. И либо нынешний период застоя прекратится в результате уже запаздывающих, но пока еще возможных действий сверху. Либо ему положат конец катаклизмы, посерьезнее потрясений начала девяностых.

Вместо заключения

Вольфганг Айхведе:

Поколение «шестьдесят восьмого года» в Германии и Западной Европе*.

Шестидесятников нельзя считать чисто советским явлением. В 60-е годы мы наблюдаем движение протеста во многих странах.

Это был глобальный прорыв. Предшествующая ему форма — civil rights movement (движение за гражданские права), в том числе, движение за гражданские права чернокожего населения в США (его главным представителем и символом стал Мартин Лютер Кинг), было подобно первоначальному взрыву и создало образцы для подражания. Во всяком случае, протест, постановка новых общественно значимых вопросов и стремление к новому миру стали символом десятилетия: Че Гевара — был иконой, война США во Вьетнаме — фокусом возмущения, «Красная книжка» — цитатник Мао — как своего рода новой Библия для многих протестующих.

Это происходило на Востоке и Западе, в Италии, Франции, Голландии, Южной Америке, в Федеративной Республике Германия, в Польше, Чехословакии — в разных странах. Тем не менее, движения в Восточной Европе все же определялись другими приоритетами, чем движения в Западной Европе и США, хотя везде они были направлены против существующего порядка.

Глобальный протест: 1968 год в основных понятиях

Я был тогда студентом и в определенном смысле, участником событий, членом студенческого движения. Подчеркиваю — «в определенном смысле», поскольку я опасался революции (в моей стране), хотя и выходил на улицы, выступая за радикальные, даже революционные реформы. Студенческое

* Статья В. Айхведе написана на основе выступления в Горбачев-Фонде.

движение 68-го года было своеобразным аналогом советского шестидесятничества: на Западе были «шестидесят восемьники», или люди 68 года (это более точное название, хотя так нельзя сказать по-русски) .

На Западе тогда нарастали недовольство, протест и сопротивление. Мы чувствовали, что должны изменить нашу жизнь — общественную и частную — и разумеется, политическую систему и образ жизни.

Один эпизод может прояснить нашу тогдашнюю установку. Руди Дучке¹ был символом нашего движения. В марте 1968 года на него было совершено покушение. Он выжил, но потерял голос. Когда Дучке был вынужден снова учиться говорить, врач использовал как текст для упражнения — тезисы о Фейербахе Карла Маркса, поскольку Дучке знал их наизусть. Знаменитый одиннадцатый тезис («Раньше философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его») Руди прочел так: «Раньше философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить **себя**.» Врач поправил: «Читай правильно». Руди Дучке: «Я так и делаю — «изменить **себя**». Врач: «Нет у Маркса «изменить **его**» Дучке: «Но наша задача — изменить «**себя**».

Все это происходило в дни, когда в советском самиздате была создана «Хроника текущих событий»².

Мы, поколение шестьдесят восьмого, протестовали не только против отдельных политических структур, но — против существующих общественных отношений в целом: против потребительского общества, против «террора потребления». Мы были убеждены, что наша система создала людей, которые были «винтиками» капитализма и функционировали только как «экономические люди». Это была не только критика политиче-

¹ Руди Дучке — немецкий социолог и политик, один из самых известных лидеров западногерманского и западноберлинского студенческого движения в 60-ые годы.

² «Хроника текущих событий» (ХТС), первый в СССР неподцензурный правозащитный информационный бюллетень. Распространялся в самиздате. Первый бюллетень был выпущен 30 апреля 1968 г. ХТС выпускалась в течение 15 лет, с 1968 по 1983 гг.; за это время вышло 63 выпуска «Хроники». Редакторы подвергались репрессиям.

ского истеблишмента, но всех экономических, общественных и культурных институтов.

Мы хотели создать нового человека — но не в том смысле, который вкладывался в это понятие в Советском Союзе 20-х годов, а в смысле полного *освобождения человека*: новая музыка, освобожденный секс, возможности всестороннего развития. Речь шла о создании человека — но без применения манипуляций, в свободном самоопределении.

Культовая книга той эпохи была написана немецко-еврейским американским философом Гербертом Маркузе — она называлась «Одномерный человек»³. Мы хотели «многомерно», освобожденного от принуждения человека.

Немецкий 1968 как «особый случай»

Описывая «основные понятия» 1968-го, я имею в виду Запад в целом. Но будучи немцем, я не забываю о том, что для Германии были значимы дополнительные, особенные аспекты движения, созданного «поколением 68-го».

Надо иметь в виду, что Германия — это не просто «Запад» — у нее есть собственная история. Германия была ответственна за войну, за Освенцим. Германия была освобождена от диктатуры — но через поражение в войне. То есть нас, немцев, освободили «извне» — мы не освободились сами, «изнутри». Важно отметить также, что после Второй мировой войны развитие демократических структур в ФРГ происходило под сильным влиянием, при гегемонии американцев и Плана Маршалла, а также благодаря тому, что открылись новые возможности, возникшие в результате европейского объединения. Известная книга того времени называлась «Демократия извне»: да, мы стали демократами через вестернизацию, интернационализацию нашего мышления и политических ориентаций. Это была поистине фантастическая ситуация, основные черты которой необходимо коротко перечислить:

- В 1940 году немцы взяли Париж — в 1945, к счастью для всего мира (и для себя самих) немцы проиграли войну,

³ Книга Герберта Маркузе «Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества» вышла в 1964 году в США, а в 1967 году была издана в ФРГ.

- но уже в 1950 году состоялся мирный экономический союз Германии с Францией.
- В 1945 году Берлин был городом Гитлера и символом национал-социалистической диктатуры — в 1948 году из-за сопротивления советской блокаде Западный Берлин стал символом свободы.
 - В 1945 году Германия лежала в развалинах — менее, чем пять лет спустя, она развивалась как «экономическое чудо».
 - Европа дала нам шанс преодолеть ужас национал-социализма, и несмотря на разделение Германии — для Запада мы были победителями в «холодной войне».

В результате граждане тогдашней ФРГ жили почти исключительно в настоящем — и жили хорошо: они ездили на машинах, которых становилось все больше, путешествовали все дальше благодаря росту покупательной способности «немецкой марки» и благоприятной конъюнктуре рынка. «Мы, вундеркинды» назывался известный критический фильм того времени...

Мы — тогдашняя студенческая молодежь пользовались преимуществами ситуации, сложившейся в новой, Западной Германии с ее феноменальными экономическими успехами. Тем не менее, мы начали отодвигать на задний план историю немецкого успеха и осуждать дефициты немецкого развития. При этом было бы неверно говорить только о конфликте поколений, восстании сыновей против отцов, дочерей против матерей. В действительности, было немало писателей и поэтов, бывших солдатами на войне (как, например, Генрих Бёлль), или интеллектуалов из поколения «дедов», вынужденных бежать от Гитлера и жить в эмиграции (как, например, философы Теодор Адорно или Макс Хоркхаймер) — именно эти люди определили новое мышление сопротивления.

«Вторая вина»

В книге Ральфа Джордано «Вторая вина», появившейся в 1987 году, дана точная характеристика ранней ФРГ, уточненная и усиленная критикой, которая велась студенческим движением 1968 года. Кроме «первой» вины Германии — Холокоста и Второй мировой войны, была «вторая» вина — неготов-

ность нести за это ответственность и вытеснение исторической вины из жизни послевоенного общества. Республика Аде-науэра — первого канцлера ФРГ была *демократией забвения* (и это было аргументом обвинителей из студенческой среды), только лишь *формальной демократией*, сделавшей возможным существование «элит» и защищавшей их продолжающееся существование в экономике, юстиции, медицине, а также — в Бундесвере: вермахт оправдывали, преступления немецкого прошлого были табуированы, «отцы» хранили молчание.

Это не выглядело таким образом, что о войне не говорили — но в центре внимания были собственные страдания немцев, а не те неисчислимые страдания, которые мы, немцы принесли другим народам и отдельным людям. В пятидесятые годы я много слышал о страданиях военнопленных — но только немецких, «наших» военнопленных, а не русских, польских или украинских, чья участь была еще более тяжелой.

Неверно и то, что в первые годы существования ФРГ замалчивался Освенцим — тем не менее, большинство немцев считало, что до 1945 года они ничего не знали об Освенциме. Как будто бы политика уничтожения была делом Гитлера и СС — себя же немцы воспринимали тоже жертвой нацистской диктатуры, поскольку они были «соблазнены» Гитлером, ничего подобного они не хотели, и им самим дорого пришлось заплатить за войну.

И, наконец, в понимании, существовавшем в ФРГ, Советский Союз еще долго после войны оставался угрозой. «Восток» означал, как и прежде, угрозу существованию западных немцев. Несвобода ГДР десятилетиями стояла между нами. Хотя я как историк открыто критикую слепой антикоммунизм пятидесятых годов, но я также должен открыто признать: США были намного привлекательнее СССР. Кока-Кола и рок-н-ролл были соблазнительней, чем «Ленин»; свободные выборы вызывали больший восторг, чем коммунистическая диктатура. Но была и обратная сторона этой медали: «железный занавес», существовавший в тогдашней действительности ФРГ, являлся политическим инструментом и был «занавесом», закры-

вавшем преступления, которые мы, немцы совершили в прошлом.⁴

Движение поколения 68-го осуждало немецкую политику не только как самоуверенную, но и лукавую. При этом время от времени *общая* критика капитализма соединялась с *особенной* критикой ФРГ: если фашизм был выражением капиталистических отношений, то сегодняшний порядок продолжает оставаться капиталистическим, поэтому во имя освобождения людей он должен быть преодолен. Именно в этом пункте становится очевидным значимое различие советских шестидесятников и «поколения 68-го» в ФРГ.

Конечно, часть студенческих движений подверглась опасной идеологизации: требования студентов колебались между желанием эмансипации и догматизмом. Только так можно объяснить то, почему некоторые из нас (и не только в Германии) почитали Мао-Цзе-Дуна символом освобождения.

Американская война во Вьетнаме — и волнения в Европе

Изменения культурных и политических параметров отражались на нашем отношении к двум супердержавам — США и СССР. ФРГ — с момента ее основания — не только рассматривалась как плод «холодной войны», но сама видела в США особого защитника. План Маршалла стал легендой. Американские самолеты, которые называли «изюмными бомбардировщиками», защитили и спасли от голода Западный сектор Берлина во время блокады 1948 года. В 1963 году Джон Кеннеди во время своего визита в Берлин сказал знаменитую фразу: «Я — берлинец». Мы, немцы, опьянели от восторга.

Но всего пять лет спустя имидж США радикально изменился: Вьетнамская война, которую вела Америка, стала определять настроения в мире. Протестное движение перенеслось из Беркли — в Берлин. Если в 1963 году убийство президента

⁴ Здесь я вынужден сделать некоторые сокращения. Но не могу не упомянуть о том, что в 1963 г. состоялся первый большой процесс по делу Освенцима, и о том, что начиная с семидесятых годов и вплоть до сегодняшнего дня можно наблюдать интенсивные дискуссии широкой общественности в Германии (например, в связи с «Выставкой о вермахте», посвященной роли германских военнослужащих в военных преступлениях времен Второй мировой войны).

США вызвало у нас в отчаянную скорбь, то сейчас мы выходили на демонстрации против американского «империализма». То, что мы в Европе были зависимы от США, гарантировавших нашу свободу, увеличивало наше возмущение и делало еще яростней наш протест. Соединенные Штаты, раньше бывшие идолом, во многом потеряли свою привлекательность. После того, как символические фигуры перемен — Мартин Лютер Кинг и Роберт Кеннеди (брат Д. Ф. К.) — стали жертвами покушений, начала распространяться растерянность.

Вся Европа была в движении. Казалось, что соседняя страна — Франция — в мае 1968 года была на пороге революции. В то время как в Западном мире разочарование и даже — фрустрация в отношении собственной системы распространялась все сильнее, Восточный, советский мир не предлагал никакой альтернативы, за которую стоило бы политически агитировать. В Варшаве студенты-демонстранты были разогнаны милицией. Во время «Пражской весны» правящая компартия прокламировала фантастические реформы под именем «социализма с человеческим лицом». В течение нескольких месяцев казалось, что Александр Дубчек станет символом надежды в Европе. 21 августа 1968 года войска Варшавского договора разрушили эти мечты. Семерым отважным людям⁵, проводившим демонстрацию 25 августа 1968 г. на Красной площади в Москве, все же удалось стать символом надежды.

Итак, для «поздних шестидесятых» в ФРГ было характерно отчуждение политики — от культуры, властных структур — от университетских протестов, «картеля» официальных партий — от мира интеллектуалов. Никто не мог представить себе, как можно преодолеть эту пропасть, как снова станет возможным сближение между поиском лучшего мира и вопиющей несправедливостью. Но такое сближение все-таки произошло.

⁵ Демонстрация 25 августа 1968 года также называемая «демонстрация семерых» (Константин Бабицкий, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг) — одна из наиболее значительных акций советских диссидентов. Была проведена на Красной площади и выражала протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора, произведенного в ночь с 20 на 21 августа для пресечения общественно-политических реформ в Чехословакии, получивших название Пражской весны.

Фактор Вили Брандта — Россия в немецкой политике

В октябре 1969 года канцлером ФРГ был избран Вилли Брандт. Страстный противник национал — социализма, Брандт в годы гитлеровской диктатуры был вынужден бежать и эмигрировать из Германии. После войны он сделал политическую карьеру как правящий бургомистр Берлина, но остался близок интеллектуалам. Брандт решил «осмелиться на большую демократию» в своем правлении. Его фирменным знаком стала «новая восточная политика». Целью этой политики было политическое и историческое примирение с народами и государствами Восточной Европы. Чем безудержней становились кампании, которые организовывала против него консервативная, правоориентированная оппозиция, тем популярней становился Брандт в леволиберальных, интеллектуальных кругах общества ФРГ. При этом Советский Союз — вопреки всем дипломатическим расчетам — приобрел полностью новое значение в политической культуре послевоенной Западной Германии.

Для «поколения 68-го», или студенческого движения Советский Союз не являлся примером. Он не был ни вдохновляющей целью, ни идеалом, который мы хотели бы копировать или следовать. Советский социализм был диктатурой, диссиденты (которых мы определяли как родственное себе направление) находились в заключении. Восхищаясь Дубчеком, мы презирали Брежнева. Но новая восточная политика и просьбы Брандта о примирении с «Востоком» вынудили нас к постановке новых вопросов и изменению нашего понимания истории. Сформулирую это более жестко: если мы хотим сближения с Советским Союзом, Польшей и народами Восточной Европы, мы вынуждены по-новому посмотреть на наше прошлое и перестать замалчивать преступления немецкой армии во время войны; если мы хотим примирения, **мы сами** должны измениться.

Для нас, немцев шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годов — для «поколения 68-го» и последующих поколений — Россия играла важную роль в деле освобождения Германии от диктатуры через *воспоминание и осмысление*. В то

время, как политическая система Советского Союза работала на то, чтобы укрепляться в мышлениями в категориях конфронтации, работа с общей катастрофической историей в Германии привела к образованию *новой политической культуры*.

Много лет спустя я познакомился с супругой Михаила Гефтера — Рахель. Она маленьким ребенком пережила Бабий Яр. Она сказала мне с печалью в голосе: «Вы должны знать историю во всей ее правде, чтобы мы могли жить вместе с вами. Но что еще важнее: Вы должны это сделать для самих себя, чтобы вы вообще смогли жить.»

Чтобы предупредить возможное недопонимание, подчеркну: я говорил только об **одном** аспекте 1960-х 1970-х годов. Конечно, во всей полноте история ФРГ была намного сложнее. Эта история еще не закончена. Многие вопросы не решены до сих пор. Но, несомненно, культура России, ее литература, музыка, искусство в целом оказывают влияние, далеко выходящее за рамки политики. В смысле изменения нашего восприятия России и ее глубокой укорененности в нашей культуре я хотел бы назвать только два имени. Одно имя — Лев Копелев, один из «шестидесятников», ставший в Германии культурной, и даже — моральной инстанцией. Его влияние на немцев невозможно переоценить.⁶

Другое имя — Михаил Горбачев. Ни один государственный деятель так высоко не оценивался в ФРГ — даже Кеннеди. И это произошло еще **до** объединения Германии. Основанием для этого было то, что Горбачев стал символом перемен, которые никто прежде не считал возможными. Горбачев символизировал (и символизирует) альтернативу, надежды, которые были и у немцев, и у советских шестидесятников. То, что после 1989-го и 1991-го многие возможности были упущены — другой вопрос. Но я благодарю Михаила Горбачева за его *«политику с человеческим лицом»*.

А что касается «шестидесятников» — у них есть свой исторический смысл и значение.

⁶ Kaufmann, Doris: «Gute Russen» im Gedächtnis der Deutschen. Briefe an Lev Kopelev, 1981–1997, OSTEUROPA 57 / 4 (2007), S. 157–165.

РОССИЯ: ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЛИ НОВЫЙ ВЕКТОР?

10 декабря 2013 г.

Вопрос, поставленный на обсуждение, имеет историческую параллель в эпохе перестройки. Ровно четверть века назад, в 1988 г., был опубликован сборник статей «Иного не дано»¹. Он сразу стал популярен и был воспринят как «советская политическая книга нового поколения, рожденная временем перестройки». Авторы статей, широко известные, авторитетные ученые и публицисты — лидеры общественного мнения, однозначно выразили свою позицию в отношении характера и направления происходивших в СССР изменений. В целом, все они были согласны с тем, о чем написал в своей статье Дмитрий Фурман: «Европейский характер культуры российской интеллигенции, пронизанность ее идеями и ценностями более передовых и свободных стран подрывали в ее глазах легитимность самодержавия, побуждали стремиться к свободе». Несмотря на различия, а порой, противоречия, в подходах, оценках, стилистике, авторы сборника считали, что необходимо упорно двигаться по пути к «нормальной», «взрослой» культуре и свободному обществу, к европейскому будущему. Вопрос об цивилизационном векторе России был для них решен: «иного не дано», — в этом состоял лейтмотив книги.

Сейчас очевидно, что одна из глубинных причин срыва перестроечного процесса — неготовность поколения советской интеллигенции, которому во второй половине 80ых выпала ответственная историческая роль, к серьезному анализу состояния общества, длительному, углубленному идейному поиску, к диалогу с властью и обществом. Интеллигенция ожидала перемен, требовала их, обосновывала их неизбеж-

¹ Сборник статей «Иного не дано», под общей редакцией Ю.Н. Афанасьева, вышел в издательстве «Прогресс» в 1988 г.

ность, но, когда перемены начались, оказалась неспособной действовать осмысленно и конструктивно. Она, фактически, единодушно поддержала тогда радикальные подходы, губительные для страны и для нее самой. Во многом, это было результатом предшествующего многолетнего существования значительной части интеллигенции в «интеллектуальном гетто», созданном советской властью. Это стимулировало в «мыслящем сообществе» дух отрицания, крайности, безответственность, «беспочвенность» мысли и действия.

За годы общественных трансформаций Россия прошла путь надежд и разочарований, в процессе которого господствующие в обществе и во власти представления о целях развития страны постепенно менялись. Произошли глубокие изменения в интеллектуальном сообществе, связанные и со сменой эпох, и со сменой поколений. Сегодня создается новая для России конфигурация интеллектуальной жизни: в ней нет былого противоборства идей, споров о будущем страны, зато гораздо больше рассуждений о целесообразности или нецелесообразности адаптации к существующим реалиям. Это сказывается на общественной атмосфере, в которой распространяются настроения социальной пассивности, безразличия, неверия в возможности социального и духовного обновления. Такие настроения характерны и для значительной части интеллектуального сообщества.

Вместе с тем продолжается поиск идей и ценностей, которые определяют вектор России в XXI веке.

Ольга Здравомыслова, Андрей Рябов

Выступающие

Анатолий Вишневский, НИУ Высшая школа экономики;

Татьяна Ворожейкина, Левада-центр;

Евгений Гонтмахер, ИМЭМО РАН;

Лев Гудков, Левада-центр;

Йенс Зигерт, руководитель Московского представительства им. Генриха Бёлля;

Ольга Малинова, ГУ МГИМО МИД РФ;

Андрей Медушевский, НИУ Высшая школа экономики;

Андрей Захаров, журнал «Неприкосновенный запас»;

Владимир Кржевов, МГУ им. Ломоносова;

Виктор Шейнис, ИМЭМО РАН;

Ханс-Хеннинг Шредер, Институт исследований стран Восточной Европы (ФРГ).

Выступления

Татьяна Ворожейкина:

Современная Россия: повторение пройденного?

Начну с короткого перечисления тех факторов, которые традиционно блокировали «западный вектор» в истории России.

Во-первых, это отсутствие государства как системы публичных институтов: публичный характер государственных институтов предполагает их безличный характер, независимость от частных интересов носителей власти, а также общеизвестные и одинаковые для всех правила игры. Напротив, государство в России на протяжении последних 500 с лишним лет — это система патримониальной власти, подчиненной частным экономическим и политическим интересам ее носителей, суть которой составляет самодержавие. Это в принципе исключает сколько-нибудь устойчивые, независимые от воли верховного властителя или правящей группы публичные институты, представляющие интересы, которые присутствуют в обществе. В такой системе публичные институты не только слабы, но, едва начав зарождаться, как это было на рубеже 1980–1990-х гг., они очень быстро меняют свою природу и, подчиняясь интересам власти, становятся фиктивными, имитационными.

Второй фактор — единство власти и собственности, вытекающее из самого характера власти. Именно власть является в России наиболее надежным источником личного благосостояния ее носителей, которые стремятся исключить возможность появления независимых центров экономического влияния. Коррупция в этих условиях носит системный характер: она составляет важнейший, несущий элемент всей конструкции власти-собственности.

Третье препятствие на пути движения России в направлении исторического Запада — это подчинение общества и индивида государству, т.е. системе частной власти. Российская

власть видит для себя угрозу в автономизации общества и систематически стремится разрушать механизмы собственно социальной интеграции и самоорганизации общества.

При этом на протяжении пяти веков своей истории российское государство, с моей точки зрения, выступало, преимущественно, как слабое государство: громоздкое, дорогостоящее, пронизанное коррупцией российское государство было слабым и неэффективным в его способности проникать в общество и осуществлять какие-либо стратегии воздействия, кроме тех, которые основаны на насилии и устрашении. Такое государство способно было только разрушать общественную ткань, но не способно модернизировать общество, поскольку само государство в его конкретно-исторических формах оставалось глубоко традиционалистским и патримониальным.

В таких условиях общество в России имело аморфный, неструктурированный, слабо дифференцированный характер. Государство, власть традиционно выступали здесь как главный и зачастую единственный интегрирующий общество фактор. С одной стороны, это было результатом последовательного разрушения государством любых независимых от власти форм общественной самоорганизации; с другой — слабости, аморфности общества, обращавшегося к власти в поисках вождя или спасителя. Иначе говоря, слабость государства и общества в России взаимно усиливали друг друга, блокируя процессы социальной и политической модернизации, т.е., создания структурированного саморегулирующегося общества и правового государства. Решающая роль в этом процессе, на мой взгляд, принадлежит власти, которая в любой самоорганизации общества — экономической, социальной, политической — всегда усматривает для себя угрозу. Как только общество демонстрирует, что оно способно существовать без постоянного контроля всепроникающего государства, последнее, как правило, начинает этому активно противостоять.

Есть много свидетельств тому, что российское общество, несмотря на крайне неблагоприятные условия своего исторического существования, тем не менее, сохраняло, пусть и в латентном виде, потенциал самоорганизации. Этот потенциал

проявлялся в ситуациях, когда государство, в результате очередного кризиса, ослабляло свою хватку. Так было в XVII веке, начиная со смутного времени и до прихода Петра I к власти, так было в 60-е годы XIX века, в начале века XX и в его конце, на рубеже 80–90-х гг. Общество в России не было абсолютно бессильным, каким его часто описывают в комментариях и в литературе. Тенденции к самоорганизации, к самостоятельному структурированию общества могли быть слабыми, разнонаправленными, плохо артикулированными, противоречивыми, но они существовали и неизбежно возникали в условиях ослабления или распада механизмов контроля и управления, которые традиционно использовала власть. Эти тенденции не всегда можно отнести к гражданской самоорганизации: так, в условиях социальной катастрофы 1917–1921 гг., речь шла о простом выживании населения. Однако именно простые формы самоорганизации и самозащиты (например, кооперативное движение) часто становятся тем основанием, на котором формируются элементы гражданского общества.

Однако в условиях кризиса российское общество очень быстро «пугается самого себя» и тех разнонаправленных тенденций, которые в нем проявляются. Думаю, что это в равной мере относится и к интеллигенции, и широким массам. В своих воспоминаниях Надежда Мандельштам описывает Москву 1922 г.: «Мандельштам заметил, что у всех возникла новая нота: люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда сильной власти обуяла все слои нашей страны. Говорить, что пора обуздать народ, еще стеснялись, но это желание выступало в каждом высказывании. Проскальзывала формула: «Пора без дураков ...». Нарастало презрение и ненависть ко всем видам демократии и, главное, к тем, кто «драпанул». (...) Назрели предпосылки для первоклассной диктатуры — без всякой тени апелляции к массам».¹ Напомню, что среда общения Мандельштамов в 1922 г. было отнюдь не рабоче-крестьянская.

Через 70 лет крушение Советского режима также породило, как отмечал в 1990 г. Андрей Фадин, страх общества перед

¹ Надежда Мандельштам. Вторая книга: Воспоминания. М.: Московский рабочий, 1990, с. 68.

самим собой, перед признаками развала общественного порядка, «перед полной потерей ориентации в обстановке, когда все пришло в движение и нет никакой надежной опоры». Этот страх, «порожденный широким разбросом стихийных и непонятных социальных процессов, становился одной из основ поднимавшейся волны массового консерватизма, сопротивления не только идущей «сверху» модернизации, но и растущей «снизу» плюрализации социальной жизни».² Именно этот страх стал одной из основ последующего отката и возвращения к традиционной для России государственно-центричной модели развития, где государство претендует на роль единственного интегратора аморфного и неструктурированного общества.

С этой точки зрения, Перестройка представляла собой важнейшее в XX веке «окно возможностей» выхода из зависимости от траектории предшествующего развития — из зависимости от государственно-центричной модели. Во-первых, потому что Перестройка была направлена на создание институтов, на деперсонализацию государства, на решающий разрыв с самодержавной моделью власти. Во-вторых, потому, что Перестройка породила разнообразные тенденции самоорганизации общества и его автономизации по отношению к государству.

Думаю, что «окно возможностей», открытое Перестройкой, «закрылось» в октябре 1993 года. Способ, которым тогда был разрешен политический конфликт в стране, стал одним из важнейших факторов, определивших возвращение к прошлому и становление современного политического режима. Я имею в виду, во-первых, военную победу одной стороны над другой (напомню, что обе они в ходе политического конфликта претендовали на всю полноту власти в стране). Отказ от поиска компромисса, от понимания того, что проигравшая сторона представляет значительную часть граждан страны и их интересы, сделали победу Ельцина — Пирровой победой с точки зрения утверждения демократических институтов в

² Андрей Фадин. Неформалы и власть (Размышления о судьбах гражданского общества в СССР). // Общественные самодеятельные движения: проблемы и перспективы. (Ред. Е.А. Суслова) М.: НИИ культуры, 1990, с. 320-321.

стране. Демократия в представлении победившей стороны выглядела исключительно как власть «демократов», а не как система соответствующих институтов.

Второе обстоятельство — это отсутствие политической реформы в 1991–1993 гг. и ориентация на использование существовавших управленческих структур (советского аппарата) для осуществления приватизации и перехода к рынку. Вопрос о демократических реформах политической сферы практически не ставился: эта задача расценивалась как вторичная и производная от развития рыночной экономики, на основе которой, по мысли реформаторов возникнут демократические структуры власти. «Демократический проект» 1991–1993 гг., по сути дела, свелся к рыночному. В результате не произошло сколько-нибудь существенной трансформации системы власти в России — власть осталась самодовлеющей, самодостаточной, монопольной и неподконтрольной обществу.

В-третьих, отказ — во имя глубины и быстроты экономических преобразований — от медленного пути демократической трансформации власти, который потребовал бы постоянного согласования интересов путем политических компромиссов, решающим образом определил дальнейшую эволюцию крупной частной собственности и рынка, с одной стороны, и все более авторитарный характер власти, с другой. Прямая конвертация власти в собственность в 1990-е гг. под «крышей» государства или путем сделки с отдельными его представителями облегчила в середине следующего десятилетия переход крупной собственности в руки групп, окончательно приватизировавших российское государство в своих интересах.

Четвертое обстоятельство, крайне негативно сказавшееся на перспективах «западного вектора» в современной России, заключалось в массовом разочаровании общества в демократических институтах как инструментах, позволяющих отстаивать свои интересы в условиях экономического кризиса 1990-х гг. Резкое падение уровня жизни в результате рыночных реформ привело к глубокой дискредитации не только демократии и либерализма, но и возможности «западного» век-

тора развития России в целом. На нем был поставлен если не крест, то серьезный знак вопроса.

Можно рассматривать нынешний режим как закономерный результат выбора, сделанного в 1993 и 1996 годах. Сложившись и укрепившись в 2000-е гг., этот режим усилил сразу все исторические препятствия на «западном» пути развития России.

В 2000-е годы произошла предельная приватизация государственной власти и государственных институтов в интересах членов узкой группы, совмещавших высшие государственные должности и распоряжение наиболее прибыльными экономическими активами. Иначе говоря, единство власти и собственности в путинский период, на мой взгляд, приобрело персонифицированный характер³. Таким образом, в 2000-е годы сложилось и предельно углубилось важнейшее препятствие для «западного вектора» развития России — предельно персонифицированный характер единства власти и собственности.

Тем не менее, политический режим не смог обзавестись сколько-нибудь убедительным идеологическим обоснованием собственного существования, способным прикрыть тот факт, что его единственный «raison d'être» — сама власть, ее самосохранение. После политического кризиса, связанного с избирательным циклом 2011–2012 гг. и резким подъемом протестных, оппозиционных настроений власть обратилась к использованию антизападной пропаганды и политики — испытанному ресурсу для мобилизации в свою поддержку традиционалистски ориентированной части общества. Усиливая, тем самым, раскол в обществе⁴, власти удалось объединить

³ Мне приходилось писать о том, что если приводить здесь латиноамериканские аналоги, то это аналогии не с режимом Пиночета, а с олигархическими кланами Трухильо или Сомосы — людей, которые владели своими странами как личной собственностью.

⁴ Исследования Левада-центра показывают, в частности, что государственная телевизионная пропаганда наиболее скандальных, «антизападных» репрессивных законов (о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, о защите чувств верующих, об НКО — «иностранных агентах»), принятых в 2013 г., весьма эффективна. При этом доля тех, кто считает, что у России есть враги, выросла с 63 % в 2012 г. до 78% в 2013 г. На первом месте среди врагов идет США (56% опрошенных).

вокруг себя «консервативное большинство», хотя его подержка носит пассивный и диффузный характер.

Таким образом, «антизападный вектор» стал важнейшей составляющей внутренней политики. Поскольку избранный вектор включает не только антизападную риторику и пропаганду, но и все более полный отказ от принципов правового государства, это очень сильно затрудняет выход России из кризиса, в направлении которого она неуклонно движется. Кризис вызван попыткой реставрации государственно-центричной модели, которая уже подверглась истощению, эрозии, разрушению на протяжении всего XX века — и это стало очевидным в 1980–1990-е гг. Поэтому в исторической перспективе реставрация государственно-центричной модели невозможна.

Тем не менее, это не означает, что антизападный курс обречен и в краткосрочной перспективе. Напротив, этот курс, поддержанный Православной церковью, остается основным и, возможно, единственным интегративным ресурсом власти. При этом внутренние факторы антизападного курса усиливаются в связи с экономическими трудностями, которые переживает, прежде всего, Европа в связи с последствиями кризиса 2008 г. и зависимостью от поставок российского газа.

...Дважды в XX веке — в начале и конце его — мы пережили радикальный слом системы, результатом которого в обоих случаях становилось возвращение к прежней, государственно-центричной, — «антизападной» — социальной модели. Проблема нынешней «безальтернативной» модели также связана с ее неустойчивостью в условиях кризиса и неизбежностью «повторения пройденного».

Ханс-Хенниг Шредер:

Запад, о котором говорят в России, — это политический конструкт, используемый для создания российской идентичности.

Есть две точки зрения на происходящее. Когда я сижу за письменным столом в Берлине, мне трудно иногда понять, о чем здесь, в России, идет речь. По-моему, важно помнить, что

Россия: определен ли новый вектор?

один из главных результатов Перестройки — это окончание конфликта Запада-Востока как военных блоков и конфликта систем. Россия сейчас — это нормальный «дикий капитализм», это авторитарная система капиталистического типа. Между Россией и Западом нет конфликта систем, поскольку больше не существует коммунистической системы — мы говорим теперь о капиталистических пространствах. Конечно, есть различия в политических устройствах, истории, структуре обществ. Но конфликта систем больше не существует. Это во-первых.

Во-вторых, когда я слушаю или читаю все статьи «про Запад», я несколько удивляюсь. Потому что, по-моему, «Запада» больше не существует. Как немец, как человек, который живет в середине Европы, я сказал бы, что 70 лет назад, никто в Германии не думал, что он живет на Западе. Томас Манн, например, в «Размышлениях неполитического человека», спорил с англичанами, французами. Но ему никогда не приходило в голову, что он — «западный человек».

Если вы смотрите на систему ценностей в Европе и сравниваете ее с системой ценностей в США, если вы задумаетесь о восприятии государства во Франции, Германии или в России, с одной стороны, и восприятии государства в США, с другой стороны, вы заметите существенные различия. То есть «на Западе» есть разные представления о государстве. Если вы попытаетесь разобраться, как организованы системы здравоохранения в Германии, Англии, Франции и в США, то сразу же заметите, что есть очень большая разница. Поэтому говорить о Западе в некоем общем смысле — по-моему, довольно бессмысленно.

Насколько я понимаю, Запад, о котором говорят в России, — политический конструкт, используемый для создания российской идентичности. Это интересный процесс, который состоит в том, что власть конструирует национальную идентичность как противовес «западной» с целью обеспечивать собственную легитимность. Поэтому я скептически отношусь к перспективам антизападной пропаганды.

Евгений Гонтмахер:

Договорные взаимоотношения между человеком и государством — это принципиально.

Профессор Шредер сказал, что не существует Запада как единого конгломерата. Если смотреть «изнутри» Запада, то он действительно очень разнообразен. Но есть, мне кажется, водораздел, который для нас — «извне» — важен, когда мы говорим о европейском выборе. Это, конечно, взаимоотношения человека и государства.

Все-таки Запад в той или иной форме, и Европа, и Соединенные Штаты проходили на протяжении столетий историю, когда человек и государство выстраивали равноправные отношения, начиная со знаменитого английского Билля о правах. Это и есть суть европейского выбора.

Россия находится сейчас — и, к сожалению, мы не смогли из этого выйти за годы, прошедшие с начала Перестройки — в плену того, что Маркс написал про азиатский способ производства, при котором, в отличие от Европы, человек был всецело подчинен государству. А если говорить о европейском выборе, то это — реально действующие в обществе институты, процедуры, когда проблемы решаются на базе известных правил, когда суд все-таки является независимым, когда человек, проигравший выборы, звонит победителю и признает свое поражение и т.д. Иными словами, договорные взаимоотношения между человеком и государством — это принципиально, при этом социальная система может быть в той или иной степени патерналистской даже внутри Запада.

Россия, конечно, не имела такого опыта. Были кратковременные попытки — 17-й год, конец 80-х, начало 90-х. В силу разных причин эти попытки закончились неудачей, и мы это видим по общественным настроениям. Социологические исследования показывают: большая часть населения демонстрирует поведение, которое похоже на поведение человека, являющегося частью государства, им «владеющего» — вплоть до того, что «владеющего» его здоровьем и жизнью.

С моей точки зрения, перспективы для России нельзя описывать как «плохие» или «хорошие», потому что говорить так в отношении огромной страны — бессмысленно. Но, как

мне представляется, из России, какая она есть сейчас, уходит европейская перспектива, европейский тип мышления.

Первая причина этого связана с российской пропагандой, которая активно внедряет в массовое сознание тему экономического, политического, социального кризиса Запада. Формально говоря, для этого есть основания, поскольку есть и кризис, и рецессия и т.д. Это стандартное объяснение, хотя неверное, поскольку то, что происходит на Западе, — только «верховой шторм». Он свидетельствует, что Запад начинает менять свою конструкцию.

Вторая причина состоит в том, что Запад, конечно, боится России и боялся ее даже в те короткие периоды, когда Россия пыталась «стать Западом». Огромная территория, колоссальное разнообразие. Я повторяю то, что давно известно: если Россия когда-нибудь вошла бы в Европейский Союз — даже на его условиях, — это означало бы, что Европейский Союз должен принципиально измениться. Это понятно: колоссальные рынки, колоссальные территории, выходы на совершенно другие регионы — Дальний Восток, Азия, Тихий океан и т.д. Европу это, конечно, сильно испугало (то же самое происходит в отношении Турции, которая, как ни старается, не может войти в Европейский Союз).

Нельзя не понимать, что неволью эта ситуация сказалась на настроениях довольно многих людей в России. Демократический подъем в конце 80-х — начале 90-х годов даже среди широких масс населения, прежде всего, объяснялся тем, что люди хотели жить «как на Западе», но в бытовом смысле этого слова. Люди — вдруг — увидели фильмы и прочли книги, после того, как отменили цензура, а кто-то съездил в Европу, США и увидел своими глазами другую жизнь. Произошло то, называется культурным шоком.

Известно, что после окончания Великой Отечественной войны Сталин начал новую волну репрессий, потому что слишком много советских солдат увидели, как живут в Германии и других европейских странах, хотя и разрушенных войной. Космополитизм тогда снова пошел в ход, потому что Сталину казалось: советский человек понял, что в бытовом смысле мы безумно отстали, а можно жить иначе лучше.

После Перестройки был короткий период, когда переход на европейский путь развития был возможен. Но сейчас, как мне кажется, эта возможность исчезла: люди не могут поверить в реальность для России европейского варианта. Скорее, России предстоит разделиться на какие-то большие конгломераты в рамках одного государства, возможно, конфедеративного. Соглашусь с Татьяной Ворожейкиной в том, что государства как системы публичных институтов у нас нет в настоящем смысле этого слова. У нас государство — корпорация, которая выкачивает ресурсы, прежде всего, в свою пользу ...

Возможно, России предстоит разновекторное движение: в ней существуют крупные города, в которых живут люди, выходившие в 2011–2012-м на демонстрации, и эти люди, наверное, хотели бы жить как в Европе. Одновременно, есть большая часть общества и целые регионы, которые не хотят и не могут жить по-европейски. Я думаю, что российский Северный Кавказ вряд ли когда-нибудь будет частью Европы во всех смыслах.

Реплика (Анатолий Вишневский). Огромное количество беженцев из Чечни — в Финляндии.

Гонтмахер. Они едут за социальными благами в Финляндию, в Норвегию. Однако все-таки подавляющее большинство остается в России.

Если же говорить о глобальном тренде, то «европейский выбор» останется магистральным в мире.

Что могут сделать думающие люди в России сейчас? С моей точки зрения, самое главное — не впадать в уныние, но и не приукрашивать действительность. Потому что надо расставаться с иллюзией конца 80-х — начала 90-х, что Россия с какой-то очередной попытки станет частью Европы.

Надо, конечно, искать выход из ситуации, понимая, что в стране возможны достаточно острые кризисы. А во времена кризисов крайне важна позитивная позиция. Кто-то будет кричать «долгой!», кто-то будет строить баррикады и т.д., и т.д. Но образованные и думающие люди должны думать о том, как преодолеть кризис и выйти из него с минимальными потерями. Это тяжелейший вопрос.

Мало кто задумывается сейчас о том, как будут развиваться ценностные конфликты. Как разговаривать с «консервативным большинством»? Это же российские граждане, наши сограждане. Есть люди, с которыми, может быть, не надо разговаривать (пропагандисты и т.д.), но основную часть граждан нельзя исключать — к ним надо найти подход, с ними надо разговаривать. Над этим принципиально важно думать сейчас.

Ольга Малинова:

Попытаться уйти от логики мышления в терминах «или, или». Попытаться уйти от самого слова «Запад».

Моя реакция на выступление Евгения Гонтмахера, скорее, была бы согласием с выступлением профессора Шредера. Мне показалось, что в тех рассуждениях, которые воспроизвел Евгений Гонтмахер, очень ярко проявился тот способ рассуждения, с помощью которого мы, в России, понимаем ситуацию и, в частности, то, как работает конструкция, называемая словом «Запад».

Я согласна с тем, что в краткосрочной перспективе «антизападническая» тенденция будет сохраняться. На мой взгляд, это связано с логикой идеологического строительства, которым занимается властвующая элита. Способ выстраивания идеологической позиции, который практиковался в нулевые годы, был связан с тем, что у власти в силу ряда обстоятельств была возможность высказываться таким образом, чтобы нравиться одновременно приверженцам разных идеологических позиций. Это было возможно, в том числе, в силу той институциональной перестройки, которая произошла в медийной сфере.

Как мне представляется, ситуация 2011–2012-го годов сделала такое позиционирование невозможным. В то же время, поскольку российское общество слабо структурировано, сложно построить убедительную консервативную утопию, особенно в постсоветском контексте. Пытаясь сплотить большинство против меньшинства, власть имеет дело с очень проблематичным набором идеологических конструкций. Все эти

конструкции могут быть использованы, но они точно так же разделяют, как и соединяют. Я думаю, что это очевидно.

В этой ситуации получается, что негативный способ мобилизации оказывается наиболее эффективным, потому что именно он как раз хорошо спланирует. То есть, говоря другими словами, нынешнее «антизападничество» в каком-то смысле техническое, связанное с логикой решения тех идеологических задач, которые власть вынуждена решать, но для их решения «антизападничество» оказывается наиболее удобным инструментом. К сожалению, использование этого инструмента имеет вполне очевидные негативные последствия.

Приверженцы западничества и антизападничества очень часто высказываются в том духе, что колебание двух тенденций подобно маятнику. Достаточно вспомнить в этой связи концепцию Александра Янова и не только одну его концепцию... Я, напротив, полагаю, что нет «логики маятника», поэтому нельзя рассчитывать, что чем дальше маятник отклонится в одну сторону, тем решительнее он качнется в противоположную. В XX веке мы имеем дело не с тем западничеством и не с тем почвенничеством, которые существовали в дореволюционной России. Мы имеем дело, действительно, с другим «Западом».

Эти два обстоятельства заставляют меня скептически относиться к перспективе того, что маятник, сделав колебательное движение, вернет нас снова к западническому полюсу. Думаю, что этого не произойдет. И хорошо, что этого не произойдет, потому что само по себе движение в сторону противоположности — контрпродуктивно.

Рассуждая о задачах либерально-демократического лагеря или о том, что следовало бы делать людям, которые видят будущее России в ее европейской ипостаси и хотели бы, чтобы Россия была «нормальной страной», мне кажется, надо приложить все усилия к тому, чтобы демонтировать западничество как актуальный полюс идеологического пространства. Задача состоит в том, чтобы демонтировать западничество как крайнюю позицию, т.е. перевести разговор из плоскости — не «или, или» в плоскость «и, и» — в зависимости от контекста.

Как мне кажется, для этого сейчас есть определенное окно возможностей. То есть другими словами, суть в том, чтобы, когда антизападничество утомит общество (а это рано или поздно произойдет), альтернативой ему стала не риторика западничества, а риторика дискурса XXI века, дискурса, который соответствует представлениям об идентичностях в XXI веке. Попытаться уйти от логики мышления в терминах «или, или». Попытаться уйти от самого слова «Запад».

Мне кажется, что в такой именно логике надо стремиться выстраивать дискурс интеллектуалов, которые стоят на позициях, которые мы, может быть, и хотели бы определять для себя как «западнические». Но мы должны от этого сознательно уходить.

Йенс Зигерт:

Реальный Запад не может быть идеальным.

Как человек «с Запада», живущий в России, я постоянно сталкивался с тем, что я людям должен сказать: то, что вы думаете о Западе, это на самом деле не так, потому что Запад — это не так «идеально».

Проблема заключается для меня, если коротко сказать, в следующем. В России каким-то образом идеальные представления переключаются на нечто, действительно существующее. А Запад, который существует в реальности западных стран, не может быть идеальным. Значит, сам процесс «переключивания» уже содержит в себе разочарование в Западе.

Разочарование в Западе, которое мы сейчас наблюдаем в России, на самом деле, произошло в конце 90-х. Вообще очень часто дискуссии о том, что «мы не Запад и им не станем», свидетельствуют о недостатке самоуважения.

Поэтому мне кажется интересной и важной идея — отказаться не от идеалов, а от того, чтобы называть эти идеалы «западными».

Лев Гудков:

Если Россия продолжит двигаться антизападным курсом, последствием этого будет возрастание неэффективности социальных институтов.

«Запад» играет чрезвычайно важную роль в российской культуре, потому что это традиционный способ артикуляции ценностей и , самоидентификации через воображаемую конструкцию. В одни периоды она может восприниматься с положительным знаком, в другие — с отрицательным. Однако и в том и в другом случае заимствование ценностей и представлений, — научных, правовых, и т.д. — идет из европейского ареала. Поэтому другого способа артикуляции собственных проблем, как не через некоторую (фиктивную) конструкцию Запада в российской культуре нет.

Но проблема, как мне кажется, лежит в несколько другой плоскости. Господство нынешней системы власти держится не на идеологии — этим отличается нынешняя ситуация от эпохи коммунистического тоталитарного режима, — а на деморализации общества и поддержании этого состояния. Я имею в виду особую технологию власти, использующую настроения апатии, неверия в то, что можно что-то изменить к лучшему, и ситуацию общей коррумпированности. В этом отношении общество и интеллектуальная элита, не отличаются принципиально от власти по способу мышления. Поэтому я довольно скептически оцениваю перспективы нынешней ситуации.

Если Россия продолжит двигаться антизападным курсом, последствием этого будет, во-первых, возрастание неэффективности социальных институтов вследствие негативной селекции в структуры власти, во-вторых, то, что можно назвать «наглостью политики». Возможный кризис власти и снижение ее поддержки , скорее всего, не приведут к изменению системы, потому что ни интеллектуальная элита, ни общество не в состоянии выдвинуть другой моральной картины реальности, построенной на иных основаниях. Критика коррупции во власти, на которой сегодня сфокусирована оппозиция, недостаточна. Повторю: эта критика не изменяет понимания социальной реальности, не создает новых, более сложных и дифференцированных представлений.

Если потенциал власти слабый, то потенциал общества, судя по всему, еще слабее. Но это не «естественный» для нас порядок вещей, а систематически воспроизводимый эффект определенной организации институтов и технологии власти. Поэтому даже в случае политического кризиса общество реагирует не консолидацией, не выдвижением альтернативных проектов, не усилением сопротивления, а усилением способности приспособляться и уходом в частное существование.

Данные исследований Левада-Центра дают основания предполагать, что в перспективе кризис легитимности власти и напряжение в обществе будут нарастать. При этом оппозиция, интеллектуалы выдвигают сейчас, в основном, рецепты общего характера. В этой среде по-прежнему отсутствует понимание проблем других групп населения, других точек зрения и, соответственно, отсутствует их артикуляция и поиск компромисса. Однако там, где столь разные ценности, трудно найти основания для компромисса. Это, на мой взгляд, глубокая, не до конца осмысленная проблема России.

Анатолий Вишневский:

Главный водораздел — это модернизация/демодернизация.

В середине 90-х годов мне пришлось участвовать в большой конференции в Лионе, которая была посвящена 40-летию Римского договора, который положил основание Европейскому Союзу. Выступая как демограф, я сказал, что есть масса вещей, которые, по сути, делают интересы России и интересы Европы общими. И поэтому, конечно, рассматривая Европу, нельзя игнорировать Россию. Меня поддержала Элен Каррер д'Анкосс⁵. Но после этого выступил Юбер Ведрин — политик, который позже стал министром иностранных дел Франции. И он сказал, что все-таки дело не в географии, а в проекте: мы можем объединяться, если у нас есть одинаковые проекты. А

⁵ Элен Каррер д'Анкосс, историк, политолог, специалист по истории России.

если проекты разные, то вряд ли может идти речь об объединении.

Думаю, что вопрос как раз в этом: какой у нас проект, что мы можем и чего мы не можем, в каком направлении мы хотим двигаться. Какое место занимают «либеральная» и «антилиберальная» идеи в нынешнем российском проекте? Например, признается парламентаризм как ценность политической культуры. Только мы это понимаем его и обходимся с ним так, как нам хочется. Тогда что это? Ценность, или это игра с ценностью? Парламент появился в Соединенных Штатах, когда в Европе все еще были монархии. Но европейцы сейчас не кричат о том, что парламентаризм не их ценность, не отказываются от него, не призывают восстановить традиционную монархию.

Мне кажется, что главный водораздел, или вектор — это модернизация или демодернизация. Я как-то писал, сравнивая большевиков с немецкими фашистами, что у большевиков было историческое преимущество — в смысле технической, инструментальной модернизации — они ее проводили. Я не оправдываю те средства, которыми большевики проводили модернизацию, но она была. Сейчас ее нет. Это выражается и в том, что выборы становятся все более и более имитационными. Все мы видим, как меняется мир — не только Россия, но мир.

Если кратковременная перспектива развития России не внушает особого оптимизма, то что можно сказать о России в долгосрочной перспективе? Почему даже в интеллектуальном слое общества не вырабатывается хотя бы некоторого консенсуса во взглядах? Я имею в виду не политический консенсус, а прежде всего, ценностный. Откуда вдруг берутся люди, которые начинают ненавидеть Дарвина и бороться с дарвинизмом? Откуда вдруг восторги по поводу Третьего отделения? Происходит явное обесценивание главных достижений русского XIX века. Уже и Толстой не устраивает, Герцен — тем более, а декабристы — просто никуда не годятся... Весь наработанный слой культуры русского XIX века последовательно уничтожался при Советской власти, но тогда еще соблюдалось уважение к классике...

Что же у нас останется? Победоносцев и Третье отделение, и конечно, наша монархия. Это смущает больше всего. Никаких новых идей и новых проектов не видно.

Андрей Медушевский:

Мы должны уйти от драматического противопоставления идеологических клише.

Идеология консерватизма, которая присутствует не только в российском, но в европейском сознании, выражается в том, что логическому объяснению реальности она противопоставляет чисто историческое объяснение, и история выступает в качестве детерминации сегодняшнего положения дел. Это — эмоциональный и, я бы сказал, — гиперэтический подход, противопоставленный нейтральной, независимой, свободной от оценок, то есть научной интерпретации фактов. Это — исторический пессимизм, который состоит в том, что «все было очень плохо, а будет еще хуже». И это тоже определенное средство мобилизации для общества — я бы сравнил ее с фантомными болями у людей, которые не могут рационально объяснить мир. Идеология консерватизма — это скептицизм в отношении социальных изменений, вызванных глобализацией, модернизацией и вестернизацией, и распространенный не только в России, но и на Западе. И это попытка выдвинуть религиозные и моральные ценности против светского и рационального государства. Таким образом, говоря о современной российской идеологии консерватизма мы имеем дело с возрождением исторической европейской традиции консерватизма и можно сказать, что это проявляется очень четко в той постановке вопроса, которая присутствует в понятии «цивилизация».

Действительно, тезис Хантингтона о конфликте цивилизаций был использован очень широко в мире (опять-таки не только в России) для того, чтобы обосновать некое независимое существование обособленных цивилизаций, которые вступают в конфликт друг с другом. Известно также, что существует много типологий цивилизаций. Само понятие — цивилизация — отличается неопределенностью, и этим оно опас-

но: можно говорить о цивилизации на основании религии, на основании регионализации, расовых, национальных различий и т.д.

Консервативная мысль в сегодняшней России апеллирует к российской цивилизации. Дискуссия сводится к вопросу о том, является ли Россия частью европейской цивилизации. Другая позиция состоит в том, что Россия является Евразийской цивилизацией. Третья позиция состоит в том, что Россия — уникальная цивилизация, противостоящая как Востоку, так и Западу.

Думаю, с научной точки зрения цивилизационный подход уязвим в силу его крайней абстрактности. Но важно выделить, несколько основных тезисов консервативного, реставрационного мышления.

Первый тезис: существуют постоянные и в принципе неизменные интересы цивилизаций, (можно сказать, империй).

Второй тезис состоит в том, что главный конфликт развивается между глобальным Западом и глобальным Востоком.

Третий тезис, получивший подкрепление особенно после распада Советского Союза, — состоит в том, в результате разрушения биполярной конструкции международной безопасности одна цивилизация, то есть западная (США и Европа), стала в мире доминирующей. Она навязывает всемогальным свои ценности и стереотипы — из этого вытекает идея исторической миссии России, которая состоит в том, чтобы противостоять западной экспансии.

Эта доктрина основана на холистическом, подходе к отношениям общества и государства.

Западная цивилизация — это цивилизация, которая основана на праве, в том числе в религиозном смысле. Это договор между человеком и Богом, фактически юридически закреплённый, гарантирующий индивидуальное спасение. Россия с этой точки зрения — это особая православная цивилизация, где речь идет о коллективном спасении, где нет права, нет договора, а есть только некое эмоциональное состояние, которое приведет к торжеству этих идей, в конечном счете. Это мессианская идея.

Я думаю, что сама логика этих рассуждений, конечно, должна быть поставлена под сомнение. Мы должны переосмыслить эту концепцию в рациональных научных понятиях для того, чтобы что-то ей противопоставить.

Говорится, что существуют разные проекты, но романтическая консервативная мысль отрицает существование проектного мышления как такового. Когда президента Путина спросили, как он относится к проекту «Россия», он, как известно, ответил, что Россия — это не проект, а судьба. Это как раз и есть классическое выражение данной романтической постановки вопроса.

Второй большой блок проблем, которые следовало бы обсудить в этой связи, связан с вопросом о том, до какой степени история, историческое сознание влияет на современное положение вещей.

В большинстве выступлений очень четко проводится мысль, что существует некий исторический детерминизм, что Россия всегда имела такую политическую и социальную систему, которая приводит к воспроизводству деспотии. Наиболее полное выражение это получило в ряде концепций, в частности в концепции русской системы, которая исходит из того, что в России всегда были соединены власть и собственность, что государство всегда подавляло общество, и, следовательно, так было и так будет. И никакой альтернативы деспотизму не существует. Вся российская история, исходя из этого, предстает как конфликт периодов разрушения и восстановления стабильности, и все общество делится на людей, которые поддерживают эту стабильность и людей, которые «мешают» стабильности.

Отсюда возникает политизированная и совершенно тенденциозная оценка различных периодов русской истории. Отрицаются периоды либеральные, связанные с модернизацией, как например великая реформа Александра II или даже реформа Столыпина и, безусловно, реформа Горбачева, которая рассматривается как «национальное предательство» — причем концепция заговора здесь играет большую роль. И, напротив, на первый план выдвигаются исторические персонажи, которые якобы укрепляли российскую государственность.

К их числу относится, безусловно, Иван Грозный, Александр III и Сталин.

Надо сказать, что многие рассматривают эти идеи как чисто российский феномен, но он не является чисто российским, он имеет вполне сопоставимые корни в Европе. По существу это консервативные идеи межвоенного периода, которые были распространены в Германии и не только в Веймарской Республике, но и в предшествующий период. Идея незавершенного государства; идея, что нужно восстановить историческое пространство; идея, что Германия имеет особый путь; идея, что национальное величие может быть достигнуто через реализацию националистической или даже расовой программы и через создание империи

Здесь очень важно обратиться к опыту Германии, которая смогла после Второй мировой войны отказаться от этих стереотипов. Существовала очень большая историческая дискуссия в Германии, которая выявила воспроизводство этих стереотипов и этих схем в немецкой литературе. Произошло полное переосмысление имперской концепции истории, была переосмыслена роль Бисмарка, и многие националистические милитаристские кумиры прошлого — от Фридриха Великого до Кайзера Вильгельма и Бисмарка — были развенчаны.

Я полагаю, что нам важно заняться этой работой, потому что манипулирование историей, причем на уровне не только искажения фактов, а селективного подбора фактов, — очень опасная тенденция, которая, в частности, проявилась в недавно подготовленном культурно-историческом стандарте, разработанном в Российской Академии Наук.

Суть этой концепции заключается в том, что, например, 90-е годы — это полный упадок, Перестройка — это разрушение страны, поэтому необходимо восстановить сильную власть. Приводится соответствующий исторический ряд для того, чтобы эту тенденцию обосновать. Я думаю, что основное поле битвы между этими консервативно-романтическими идеями и идеями рациональной научной истории разворачиваются сейчас как раз в области объяснения ценностей и традиций русской истории.

Каким образом эти консервативные идеи могут повлиять на дальнейшее развитие страны? Безусловно, как и другие романтические идеи они не имеют отношения к науке, но тем они опаснее, потому что чрезвычайно востребованы массовым сознанием.

Суть программы реставрации в этом смысле имеет три важнейших параметра. Если мы возьмем консервативную литературу, то здесь выдвигается, в первую очередь, идея морального возрождения нации путем преодоления морально-психологической дезориентации в обществе. При этом выдвигается большой спектр различных изменений, в том числе и на семантическом уровне — на уровне понятий. Предлагается, например, создать особую русскую политологию, особую русскую социологию (например, в МГУ она развивается активно).

Более того, предлагается реформа русского языка, основанная на том, что надо выбросить из него иностранные слова. Говорится о том, что надо изменить законодательство об Интернете с целью его ограничения под разными предлогами. Говорится даже о том, что надо изменить законодательство о туризме, чтобы российские граждане не ездили за границу, а сидели дома. То есть иногда это приобретает гротескные формы.

Вторая важная часть реставрационной программы — экономическая. Я имею в виду тезис о том, что надо противопоставить солидарность либерализму, но как раз это и есть кредо консервативной политической романтики. Она исходит из этого, что результатом реформ стала экономическая дифференциация населения и необходимо пересмотреть этот вопрос с позиции солидаризма. Предлагается, фактически, концепция автаркического государства, отсюда — критика Международного валютного фонда, ВТО, идеи о пересмотре положений о частной собственности на землю — целая экономическая программа, которая, разрабатывается в последнее время очень интенсивно некоторыми экспертами.

Третий важный блок этих реставрационных инициатив — я считаю, что все они взаимосвязаны, — концепция конститу-

ционной реформы. Я подчеркну только ее важнейшие моменты.

Это, во-первых, отмена ценностно-беспристрастного характера позитивного права, имеется в виду отмена статьи 13 Конституции РФ о плюрализме и введение в Конституцию концепции единой государственной идеологии. Во-вторых, это пересмотр концепции светского характера государства и образования. Фактически, речь идет о клерикализации общества. И, наконец, — пересмотр и ограничение прав человека и либеральных свобод.

Важнейшими документами, где излагается эта программа, являются Манифест просвещенного консерватизма Михалкова, проект «Россия» и Русская доктрина. Можно заметить, что некоторые из этих идей были востребованы в Валдайской речи президента⁶, который ссылаясь на Солженицына и Леонтьева и говорил об особенностях, о корнях российской цивилизации.

Крайние представители консервативного направления доходят даже до того, что говорят об «особом генетическом коде цивилизации». Но по существу, все это совсем не ново. Идеи, взятые из багажа консервативной романтики эпохи Бисмарка, Наполеона III, из Веймарской Германии, из Италии и Испании периода корпоративистских режимов, существовали в межвоенный период. Эти идеи присущи в очень активной форме современному западному консервативному сознанию, которое наращивает, свои позиции, в том числе, в парламентах Швеции, Франции, и в Германии.

Таким образом, вряд ли стоит говорить о какой-то цивилизационной специфике России, поскольку существует некий глобальный тренд, из которого российская политическая бюрократия выбирает то, что ей представляется актуальным на современном этапе.

Завершается вся эта логика политической романтики, естественно, концепцией империи — по существу речь идет о восстановлении сильной власти, которая не предполагает

⁶ Имеется в виду выступление В.В. Путина 19 сентября 2013 г. перед участниками юбилейного (десятого) заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

разделения властей. И для этого предлагается радикальная реформа Конституции.

Все это выражается понятием «консервативной революции», которая ставит задачу изменить Российскую Конституцию 1993 года, для чего надо созвать Учредительное собрание или Земский собор, который примет новую конституцию. Новая конституция будет основана на идеях соборности, то есть бесконфликтности отношений общества и государства. Тем самым будет положен конец либеральным нововведениям Перестройки и 90-х годов, которые якобы отторгаются российским обществом.

Ясно, что ситуация гораздо сложнее, и по существу можно говорить о том, что действительно, происходит подмена понятий, манипулирование сознанием, которое происходит в совершенно новых и не известных ранее формах информационных войн, или информационных конструкций.

Особенность этих конструкций заключается в том, что они не просто навязывают людям в виде пропаганды определенные представления, как это было в советскую эпоху. Новые технологии устроены таким образом, что они подводят малообразованного человека к идее, что он сам нечто открыл. Очень важный момент: эти технологии действуют на уровне не просто повторения, как это было раньше, а на уровне сознательного перепрограммирования поведения личности на когнитивном уровне, что делает их весьма эффективными.

Мне представляется, что главный вывод, который мы можем сделать, состоит в том, что консервативная романтика, как это было и во времена Веймарской Республики, есть эффективный фактор современного развития. Она связана с кризисом общественного сознания в результате распада Советского Союза, огромных трудностей и потрясений, связанных с экономическими и политическими катаклизмами последующего времени. Таким образом, консервативная романтика представляет собой системную реакцию на кризис. Это подтверждается результатами социологических опросов: очень большой процент населения поддерживает сильную власть, видя в ней антитезу анархии и это коррелирует с опросами,

показывающими позитивную оценку Сталина со стороны большей части молодежи.

На мой взгляд, воспринимая этот феномен как данность, мы должны расчленить его на его составляющие элементы. Вполне возможно было бы переосмыслить и изменить на семантическом уровне некоторые представления консервативной романтики для того, чтобы использовать их в интересах либерализма. Я не думаю, что правильна формула русской поговорки «хоть горшком назови, только в печь не ставь». Как раз современная эпоха характеризуется тем, что, если вы по-другому назовете этот «горшок», он будет функционировать в общественном сознании совершенно иным способом. Китайцы показали, что можно назвать экономику коммунистической и сделать ее рыночной

В этой конструкции надо вычленить ядро агрессивной консервативной романтики, по существу — неофашистские идеи, которые представляют безусловную опасность не только для либерализма, но и для политической власти. И с ними, безусловно, следует работать очень внимательно, показывая их реакционный компонент, их неприемлемость не только для европейского выбора страны, но и для существования страны в целом.

Наконец, нужно различать неодинаковые социальные функции консервативной политической романтики. В ней есть, конечно, поиск национальной идентичности, но есть и функция легитимации власти, и функция откровенного провоцирования конфликтов.

Учитывая, что этот феномен чрезвычайно внутренне противоречив, поскольку есть романтики-либералы, есть романтики-фашисты, есть романтики-почвенники — нужно различать эти направления, не смешивая одно с другим.

Мне представляется, что главный ответ, который должна дать интеллигенция состоит в том, что помимо полноценного анализа этого феномена она должна противопоставить романтическим идеям профессиональную научную реконструкцию этих процессов. Это означает, что нужно выработать собственную концепцию — не только чисто научную, но концепцию транслирования своих идей в общество, которую не от-

торгало бы массовое сознание. Возможно, здесь действительно нужно использовать другие понятия, говорить не о европейских ценностях, как привязанных к определенной территории, а скорее о «новом мышлении», используя это понятие времен Перестройки. Оно скомпрометировано сейчас, но по существу, новое мышление — это действительно цивилизационный выбор мира, а не только Европы, России или Востока.

Огромное значение имеет просвещение. И в этом контексте я бы обратил пристальное внимание на реформы в образовании, на концепции учебников, на методику преподавания, на вариативность подходов, в том числе к изучению российского права, российского конституционализма.

Таким образом, мой общий пафос состоит в том, что мы должны уйти от драматического противопоставления идеологических клише, которые возникли в период холодной войны, и перейти к достаточно конкретному, нюансированному применению определенных понятий, доступных массовому сознанию и способных противостоять той волне консервативной реставрации, которую мы наблюдаем сегодня.

Владимир Кржевов:

Нужны альтернативы консервативному дискурсу.

То, что цивилизация — это термин научного дискурса — в высшей степени спорное утверждение.

Когда появились концепции Шпенглера и Тойнби, крупнейший историк, один из основателей школы анналов Люсьен Февр категорически отвергал научную состоятельность этой методологии. Есть еще целый ряд аргументов (не буду входить в подробности), но я солидарен с Андреем Медушевским в одном — когда используется термин «цивилизация» в рамках консервативного общественно-политического дискурса, подразумевается, что цивилизация — это обреченность. Это наша традиция. То же самое говорили евразийцы, например Лев Карсавин: вместо слова цивилизация они использовали несколько неуклюжий оборот — культуросубъект. А смысл был тот же самый: культуросубъект един — в прошлом, настоящем и будущем, и изменить здесь ничего нельзя.

Легко заметить, что современные разговоры о российской идентичности — это вариации в рамках консервативного дискурса на тему, заявленную еще. Данилевским, который публикует книгу «Россия и Европа»⁷, хотя правильнее было бы назвать ее «Россия — не Европа».

Готов возразить профессору Шредеру: На мой взгляд, слухи об «исчезновении Запада» слишком преувеличены. И в данном случае мы говорим не столько о культурном своеобразии, сколько о структурной композиции обществ. То, что называется буржуазной революцией — разделение институтов власти и собственности — происходило достаточно долго, нелинейно, возвратно-поступательно, вариативно. Но, тем не менее, это произошло. И было связано с культурной трансформацией, потому что до того, как эта революция случилась, на Западе была другая культура и другой тип общества, которые, кстати, ближе к тому, что мы имеем сейчас в России.

В России подобной революции не произошло. Были очень скромные попытки ее произвести в 1861–1863 годах и потом — хотя даже трудно говорить в этом случае о попытке — в марте 1917 года. Как известно, те попытки закончились крахом, провалом, и в результате была реанимирована старая модель власти — собственности, которая, собственно, остается стержнем общественного устройства. Поскольку эта модель функционирует определенным образом, она востребует определенную культуру. В сугубо узкой, инструментальной своей части — это культура легитимации политического режима, основанного государство — центризме, о чем говорила Татьяна Ворожейкина. Я согласен с ее диагнозом.

Россия — не Европа, она никогда не была и не будет Европой, пока в России не произошла так называемая «буржуазная революция». Но трудности заключаются в том, что мы должны осуществить структурную трансформацию общества, в то время как основным инструментом или субъектом этой трансформации является государство, которое корнями уходит в старую структуру — государство-центричную — и, естественно, оно не хочет революционных изменений. А в обществе от-

⁷ Основной труд Н.Я. Данилевского, «Россия и Европа» был опубликован в 1871 г.

существуют силы, способные их произвести. Поэтому мы обречены на волновое, обратное поступательное движение: государство начинает реформы, когда у него нет никаких вариантов — когда оно в прежнем состоянии функционировать не может. А потом достаточно быстро выясняется, что реформы ведут к тому, что должно измениться само государство. Поэтому, естественно, оно эти реформы сворачивает и т.д... Однако недостаточно только констатировать, что существует повторяемость в российской истории. Важно объяснить, почему она имеет место, какие факторы обуславливают воспроизводство одной и той модели, или «русской матрицы» (это сейчас самое популярное выражение)

На мой взгляд, этим фактором является как раз сама эта «матрица». И надо основное внимание сосредоточить на альтернативах консервативному дискурсу, о котором очень точно говорил Медушевский..

Противостояние Запад–Восток — это дискурс XIX века или начала XX века, модифицированный и перенесенный в эпоху холодной войны. А XXI век — это поиск консенсуса, который в условиях нарастающего в мире разнообразия основывается на идее прав человека.

Татьяна Ворожейкина.

Мне кажется, что констатация особенностей российского развития (единство власти и собственности, доминирование государства над обществом, индивидом) вовсе не означает признания обреченности. Мне особенно важным кажутся моменты выхода и разрыва этой закономерности.

Если исходить из этого, то в цивилизационном анализе нет обреченности. Но я стараюсь работать в рамках, как мне кажется, очень плодотворной идеи, которая называется — государственно-центричная модель, или матрица, развития. Она впервые разработана на латиноамериканском материале Действительно, на мой взгляд, российский режим можно сравнивать с латиноамериканскими авторитарными режимами, но только не с теми, с которыми, на мой взгляд, называют-

ся диктатурами развития — бразильским, чилийским и т.д., а с предыдущим вариантом — с олигархическим авторитаризмом центрально-американского и карибского плана. И разложение этих режимов, мне приходилось писать об этом, порождает тяжелые и многолетние проблемы, потому что демократические структуры в этих обществах не устанавливаются.

Я не исключаю, что кризис российского режима будет развиваться по каким-то известным по Латинской Америке моделям. Но российский политический режим имеет две важных черты, которых в режимах Латинской Америки не было, — наличие ядерного оружия и имперское наследие, вызывающе имперские «фантомные боли». Поэтому анализ и прогноз его трансформации и кризиса более сложен.

Виктор Шейнис:

Не соглашусь ни с «маятниковым» изображением русской истории, ни, тем более, с утверждением о том, что «всегда так было».

Несколько замечаний в связи с состоявшейся дискуссией.

Совершенно справедливо было сказано, что антизападная риторика обращена не столько вовне, сколько внутрь — для консолидации той социальной базы, которую может получить власть, в условиях, когда у нее отсутствуют представления о путях развития России.

Не соглашусь ни с «маятниковым» изображением русской истории, ни, тем более, с утверждением о том, что «всегда так было». Как раз, занимаясь в последнее время русской историей в плане соотношения закона и власти, я все более и более прихожу к выводу, что, на самом деле, происходит нечто другое, а именно — происходит «догоняние» (возможно, неудачное, но точное слово) Россией Запада. Об этом писал еще Ключевский.

Мы отстаем от Европы на столетие. Мне кажется, можно совершенно точно обозначить точки, когда мы подходили к тому, чтобы этот разрыв преодолеть скачком. В XXI веке такая возможность возникла дважды. Возможность не есть необхо-

димось, возможность не реализовалась. Тем не менее, я не отношу к области невозможного, исключенного переход России на европейский путь развития именно в том, что касается отношений гражданина и государства, человека и общества. Это главное, в этом суть.

Вот один такой момент. 1881 год — Александр II готов уже подписать рескрипт Лорис-Меликова. Это маленький шаг, но это уже конституционный путь. Это уже нечто другое. И народовольцы, которые находятся на пределе своих возможностей, бивают Александра II, а дальше в Царском Селе собирается совещание и все это ликвидируется. Конечно, совершенно определенная возможность открылась в 1917 году, когда люди, которые вели длительную тяжбу с самодержавием, сумели создать партии и разработать идеологию русского конституционализма — я имею в виду, прежде всего, кадетов. Ситуация, когда возникла уникальная возможность преодолеть разрыв, совершить скачок. Но в это время непонятно чем занялись: проливы им нужны, победоносная война, выполнение обязательств перед союзниками... Не понимая, что 10 миллионов вооруженных крестьянских парней, которые три года провели в окопах, не будут ждать Учредительного собрания! А само Учредительное собрание — рассчитывают, составляют очень хороший закон об Учредительном собрании. И медленно это делают. Медленно, потому что хочется иметь хороший закон, чтобы в Учредительном собрании был представлен реальный срез русского общества...

Еще раз такая возможность возникла во время Перестройки. И здесь я занимаюсь, если хотите, самокритикой, потому что я был среди тех демократов, которые торопили события. Их надо было торопить, но надо было понимать, что противопоставлять популистского вождя Ельцина — Михаилу Сергеевичу Горбачеву — в этом была глубокая ошибка!

Конечно, в ней повинны не только демократы, не только герои Перестройки, «маяки» Перестройки и т.д. Повинны в этом и Михаил Сергеевич Горбачев, который допустил ряд ошибок (не буду сейчас о них говорить — очень серьезных ошибок), и Ельцин, который от многого освободился, но мно-

гое продолжал тащить на своих плечах. Но это их политическая биография.

А меня волнует политическая биография демократов, которые вместо того, чтобы поставить на союз — пусть не Горбачева и Ельцина, — но тех сил, которые шли за Горбачевым и Ельциным, сил во власти и сил в обществе, вместо этого занялись низвержением Перестройки и ликвидацией Союза.

История, к сожалению, очень часто разворачивается не так, как того хочется. Но, во всяком случае, интеллигенция должна стараться избегать зашоренного взгляда и привязке к злобе дня, которая довлеет над сознанием.

Обратимо ли нынешнее антизападное развитие? — Оно трудно обратимо. Но мне представляется, что это возможно, хотя и потребует глубокого изменения политического курса и социальных отношений.

Очень важно понимать, что было упущено в годы постперестройки. Проводились прогрессивные, разумные реформы в смысле направления движения, но социальная база этих реформ не была обеспечена.

И если при нашей жизни представится еще одна возможность — а я верю, что такая возможность в России возникнет, поскольку в России есть огромный потенциал, и культурный, и интеллектуальный, и иной, — очень важно помнить, что есть огромные слои общества, которые никогда не будут активными акторами политики, но будут очень серьезно влиять на политику и поддерживать, выдвигать тех или иных политиков.

Отсюда второй вопрос — об обществе. Да, действительно наше общество сейчас консервативно, и это эксплуатирует власть. Но настроения общества определяют сравнительно небольшие группы людей, у которых есть или нет инструментов для того, чтобы получить более широкую поддержку.

И последний вопрос — о перспективе. Не знаю, не берусь предсказывать — это было бы шаманством, — но думаю, что резкий, категорический антизападный разворот вряд ли возможен. Однако это зависит не только от России и российских интеллектуалов, но и от политики Запада и в том числе, от позиции западных интеллектуалов.

25 ЛЕТ БЕЗ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ. ПАМЯТЬ И ИМПУЛЬСЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО. НЕМЕЦКО-РОССИЙСКИЙ ДИАЛОГ

21 октября 2014 года

Россия и Германия связаны исторически и культурно на протяжении многих веков. В событиях 1989 года, высшей точкой которых стало падение Берлинской стены и разрушение «железного занавеса», роль этих отношений огромна. В современной России особенное значение придают ценности патриотизма, и историческим событиям, которые внушают чувство гордости своей страной. Несомненно, российские граждане могут гордиться тем, что благодаря политике «нового мышления», которое победило в СССР в конце 80-х годов, произошло падение Стены — одного из главных и самых зловещих символов мира, разделенного на враждебные блоки. Поэтому 25-летие падения Берлинской стены, юбилей главного события в истории современной Германии, стал событием для всего мира.

За прошедшие с тех пор 25 лет в Германии и в России успело повзрослеть поколение, рожденное в 1989 г. Эти 25-летние люди не знают, что такое «железный занавес». Они живут в открытом мире. Это, конечно, не значит, что для них, еще очень молодых, нет вопроса о свободе, о том, что такое путь общества к свободе и что означает борьба за свободу в открытом мире, который стал общим миром.

Опросы общественного мнения, которые проводились пять лет назад в год 20-летия падения Берлинской стены, показали, что примерно, 60 процентов российских граждан считали это событие важным для Европы, но не для России. Однако 40 процентов отвечали иначе: они считали, что падение Берлинской стены оказало большое влияние не только на Европу, но и на Россию. Здесь проходит водораздел. Сейчас

трудно сказать, как в дальнейшем будет меняться это соотношение. Но в едином мире, каким он стал 25 лет назад, вряд ли есть альтернатива пониманию, что падение Стены, «железного занавеса», кардинально изменило жизнь России и открыло ее гражданам, прежде всего, молодому поколению — будущее.

Ольга Здравомыслова

Выступающие

Михаил Горбачев, экс-президент СССР, президент Горбачев-Фонда;

Руслан Гринберг, директор Института Экономики РАН;

Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев-Фонда;

Клаудиа Крауфорд, Директор Фонда Конрада Аденауэра в Москве;

Томас Кунце, публицист, директор Фонда Конрада Аденауэра в Ташкенте;

Кристоф Ланц, журналист, Deutsche Welle;

Сергей Лукашевский, директор Музея и общественного центра им. Андрея Сахарова;

Павел Палажченко, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-Фонда;

Андрей Рябов, руководитель проекта «Круглый стол экспертиза» Горбачев-Фонда;

Борис Славин, помощник Президента Горбачев-Фонда;

Михаил Федотов, Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;

Михаэль Хан, политический советник Европейского парламента (EPP Party Group).

Выступления

Михаил Горбачев:

Самый главный вопрос — свобода выбора.

Приветствую всех участников конференции, но прежде всего ту часть, которая представляет Германию, новую Германию. Это большое событие, которое мы теперь отмечаем. О многом нам придется говорить — о том, что же произошло с нами, и не только с Россией, Германией, но с Европой и миром после того, как пала Берлинская стена.

Многим кажется сейчас, что все произошло легко, как будто ножом масло отрезали... А в действительности, процесс был очень сложный. Для того, чтобы совершилось это событие и мы сегодня могли отмечать эту его 25-летие — многое должно было произойти.

Нельзя не сказать о том, что задолго до этого в Европе происходил важный процесс. Хельсинское соглашение, европейские перемены, которые оно ознаменовало — это очень значимый прогресс. Несомненно, для самого события объединения Германии важно то, что уже шла перестройка в Советском Союзе, что она внесла элементы новой жизни в нашу страну.

А самое важно, что было тогда — гласность.

Руслан Гринберг¹ меня как-то спросил: «Михаил Сергеевич, зачем Вы этой стране — Советскому Союзу — свободу дали?». Я ответил: «Ты, оказывается, знал, что не надо было давать. Что же ты молчал?..».

Пришло время, когда перестали молчать. Гласность как раз возникла в тот момент, когда заговорили. В Советском Союзе столько накопилось, и столько надо было сказать самим себе, обществу, правительству и другим народам, с которыми

¹ Гринберг Руслан Семенович — член корреспондент РАН, директор Института экономики РАН.

судьба нас связала! Был невероятный всплеск активности. Реакция людей вселяла надежды, что мы все-таки справимся. Думаю, мы принимали тогда желаемое за действительность... Но если бы мы не пошли этим путем, не произошло бы то, что мы называем гласностью, свободой слова. Говорить и не оглядываться, не бояться, где ты окажешься завтра — после этого высказывания... Это был огромный поворот в жизни общества.

В стране пошли процессы демократизации — постепенные, медленные. Потому что повернуть на путь нового развития такую страну, как наша, это было непростое дело. Огромная, милитаризованная страна со множеством комплексов, которые мешали развиваться. Из этого положения надо было выходить. Для этого надо было набраться смелости...

Очень трудно было решиться на перестройку. Но мы решились.

Началась нормализация во внешних делах — с США, Китаем. Тридцать пять лет мы выясняли отношения с Китаем! Это стало предметом не только обсуждения, но и решений.

То, что происходило в Советском Союзе, определило наши отношения и с европейскими социалистическими странами. Когда в марте 1985 г. руководители соцстран приехали прощаться с Черненко, я встретился с ними отдельно и сказал: «До сих пор мы говорили одно, а делали другое. Сейчас я вас заверяю в том, что мы будем поступать иначе: вы в своей стране отвечаете за все принимаемые решения, и мы командовать вами не будем.»

Они послушали и, наверное, не очень поверили... Но мы ведь, на самом деле, не вмешались нигде. Хотя многие приезжали, спрашивали «что посоветуете?». Я отвечал: «Вы действуйте. Обещаем, что обязательства по поставкам мы выполним. Все остальное, что касается ваших внутренних дел, вы сами должны решать — и нести ответственность».

Произошли «бархатные революции»². Люди получили право выбора. Самый главный вопрос — свобода выбора.

² «Бархатные революции» в Центральной и Восточной Европе происходили осенью 1989 г. и ненасильственным путем привели к смещению коммунистических режимов в Польше, Венгрии, Болгарии, ГДР, Чехословакии.

В странах Восточной Европы начало все меняться в 1989 году — через четыре года с начала Перестройки. Все менялось, — а немцев как «за Стену» посадили, так они и сидят — и ждут, когда за них решат. Ведь Стену немцы построили при нашем одобрении... Трудно сказать, можно ли было еще откладывать. Мне кажется, это унижало немецкую нацию. Народ был разделен, он прошел сложную историю после войны, когда немцы выходили из ситуации, в которую их завел фашизм.

...Я впервые увидел немцев еще до войны, когда мне было шесть или семь лет. Мы с дедом поехали в соседнее село, на границе Ставропольского края и Ростовской области, чтобы купить пряники. Накупили целую корзину пряников — с лошадаками, зайчиками. Оказалось, что их делали в немецкой колонии. Так я узнал, что есть на свете немцы. А главное, что это хорошие люди, которые делают пряники. Потом я прошел большую историю отношений с немцами...

В июне 1989 года во время моего визита в Германию мы с Гельмутом Колем давали пресс-конференцию. Нас спросили, обсуждали ли мы немецкий вопрос. Я ответил: «Конечно, обсуждали. Были обстоятельства, при которых этот вопрос появился, нужны обстоятельства, при которых он будет решен». И мы оба заявили тогда, что это дело XXI века. Но процесс начался значительно раньше — немцы вышли на улицы и не уходили. Шли сотни тысяч демонстрации, их главный лозунг которых был: «Мы один народ». (Правда, когда я позже приехал в Германию, то услышал и другое: «Мы, немцы, говорим на одном языке, но мы два разных народа». За сорок лет многое изменилось.)

Мне пришлось участвовать в 40-летию ГДР в октябре 1989 года. Мы долго обсуждали в Политбюро, ехать мне или нет. Часть Политбюро считала, что ехать не стоит. Но все-таки поездка состоялась. Меня потрясло тогда факельное шествие: делегации двадцати восьми районов шли вечером с зажженными факелами. В основном это были люди молодые и среднего возраста — от них исходила такая энергия! Один из лозунгов, которые они несли: «Горбачев, оставайся у нас хоть на месяц». Мечислав Раковский³ спросил меня: «Вы по-немецки

³ Мечислав Раковский — Председатель Совета Министров ПНР, последний 1-й секретарь ЦК ПОРП.

понимаете?». — «На этом уровне понимаю». — «Но это же конец!». Я сказал: «Думаю, ты прав». Хонеккер приплясывал, подпевал песни. У меня было ощущение, что он находится в транссе.

Я понял, что немецкое общество находится в состоянии кипения, и решил не усугублять ситуацию, рассказывал о наших успехах и произнес фразу: «Одни у нас шли в ногу со временем, другие отстали. А того, кто отстаёт, история наказывает». Эту фразу немцы несколько переделали и запомнили ее так: «Жизнь наказывает того, кто опаздывает».

Маргарет Тетчер была решительно против воссоединения Германии. Франсуа Миттеран сказал мне: «Не знаю, что ты можешь сделать».

В 1987 году Рейган, выступая перед Берлинской стеной в Западном Берлине, призвал: «Господин Горбачев, уберите эту Стену!» Много позже мы с его сыном проводили несколько лекций и отвечали на вопросы американцев. Меня спросили: «Стену снесли, потому что на вас подействовали слова Рейгана?». Я ответил: «Знаете, как мы в советском руководстве оценивали эти высказывания Рейгана? — У президента Рейгана была в прошлом профессия — артист. Вот он и разыграл сцену у Стены».

Хельсинские соглашения, разоружение, подписание крупных договоров, процессы в Европе, внутри страны — все это должно было привести к решению Немецкого вопроса. В конце концов, в Политбюро расхождений по поводу Германского объединения не было. Хотя были вопросы: что дальше? Куда пойдет Германия? Точно такие же вопросы задавали и во всей Европе.

Мы выступали за то, чтобы Германия не уходила в НАТО. В США во время моего визита состоялась острая дискуссия на эту тему. Джордж Буш: «Вы что — боитесь Германии?» Я: «Это вы боитесь. Вы боитесь, что Германия будет за пределами НАТО...». Буш: «Германия должна быть включена в НАТО. Ее надо контролировать, ее надо держать». Я сказал тогда: «Думаю, это вы боитесь новой Германии».

Известно, какое было принято решение: объединенная Германия обретала полный суверенитет и немцы должны были

решить вопрос о членстве в НАТО. Естественно, думаю, они этот вопрос так или иначе много раз обсуждали с американцами, и США их поддерживали⁴.

Это все очень трудные моменты.

Жалею ли я о том, что это произошло? Нет. Я думаю, это большая заслуга руководства Советского Союза, что пошли на такое решение. Кстати, меня глубоко поразило тогда многое. Например, то, что в нашем народе, пережившем трагедию войны, было в отношении немцев настроение примирения, стремление к сближению. И в этом, конечно, заслуга ГДР — там жили наши друзья: советские люди считали, что в ГДР немцы «наши», а в ФРГ — «не наши». Звучит сейчас смешно, но так было. Еще факт, поразивший меня: в районе Курской дуги наши ветераны вместе с ветеранскими организациями Германии начали делать захоронения, восстанавливать списки погибших — хотели по-человечески похоронить всех воевавших. До этого я увидел, как серьезно немцы относятся к захоронениям солдат в Германии. Это значит, что русские и немцы вышли на самый глубокий уровень отношений...

Когда спрашивают, кто главные герои объединения, начинают, обычно, выяснять, кто сделал больше и т.д. Я думаю, есть два главных героя. Немцы, которые правильно поняли ситуацию и сказали: мы — одна нация, всё меняется, и мы должны жить в одной стране. И наш народ, который принес невероятные жертвы во время войны — до сих пор мы не можем прийти в себя от того, что вынесли тогда.

Обычные люди всегда умнее политиков. Политикам же надо не терять голову и видеть, что происходит в обществе, в людях. Это самое главное.

Берлинская Стена была как обнаженный нерв мировой политики, свидетельствующий о разделенном мире. Теперь ее не стало. После этого, действительно, все начало меняться в мире. Многие изменения вызывают у меня тревогу. На историческую арену выходят все новые силы. И постоянно надо находить ответы на вопросы, которые ставит жизнь.

Думаю, независимо от того, как бы вели себя мы, в Советском Союзе, немцы пошли бы на объединение. Я не только не

⁴ Объединённая Германия является членом НАТО.

жалею, что оно произошло. Я могу гордиться тем, что мы смогли это сделать.

Кристоф Ланц, Томас Кунце:

Нам крупно повезло, что довелось это пережить.

Кристоф Ланц. У нас получилась очень интересная «смесь»: я родом из Западной Германии, Томас Кунце — из ГДР. Мы примерно из одного поколения, Мы примерно одного возраста — оба родились в 50-е годы.

Скажите, Томас, когда Вы впервые почувствовали в воздухе, что что-то меняется или что-то очень скоро поменяется в ГДР и, возможно, во всей Германии?

Томас Кунце. Это было летом 1989 года. Михаил Сергеевич Горбачев был уже Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Мне было лет 25 лет. Я проводил каникулы в Будапеште (в 80-е годы я учился в вузе).. В Венгрии на тот момент очень многое изменилось, а ГДР по-прежнему оставалась закрытой страной. И я стоял перед венгерским парламентом, дождь лил, как из ведра, но перед зданием парламента в Будапеште собрались тысячи людей. Они ликовали, увидев американского президента (тогда президентом США был Джордж Буш-старший), который прибыл в Венгрию с визитом.

Для нас, граждан ГДР, это было что-то невероятное. Венгрия — страна «Восточного блока», а ее народ, стоя под проливным дождем, приветствует президента США. Никто не прогоняет людей, никто не мешает им это сделать.

Второй раз, когда почувствовал, что что-то будет меняться и уже меняется на моих глазах: я тогда ехал из Лейпцига, а там в августе 89-го начинались демонстрации, которые становились все более массовыми. В первой, по-настоящему огромной демонстрации участвовали 150 тысяч человек (а население города тогда было меньше, чем 500 тысяч). То есть почти каждый третий житель Лейпцига вышел на улицу. Это был второй раз, когда я почувствовал: что-то меняется. Недавно в Лейпциге отмечали 25-летний юбилей той демонстрации— Лейпциг очень хорошо о ней вспомнил.

Кристоф Ланц. Вы могли представить тогда (Вы же были совсем молодым человеком), что Германия объединиться, причем так быстро? Мы, в Западной Германии, были уверены, что разделение Германии — это раз и навсегда. Вы тоже так думали?

Томас Кунце. Из Лейпцига я очень часто ездил в Восточный Берлин. По улице Унтер ден Линден я проходил мимо советского посольства (сейчас там российское посольство) и доходил до Бранденбургских ворот. Прямо к воротам подойти было нельзя, потому что это была пограничная территория — подойти туда вплотную было невозможно.

Вплоть до сентября-октября 89-го года было совершенно невозможно представить, что появится хотя бы малейший шанс попасть на другую сторону, подойти к воротам и пройти сквозь них — в Западный Берлин.

Если с востока подходить к Бранденбургским воротам, то можно было увидеть что-то вроде трибуны, подиума с другой, западной, стороны, где западногерманские туристы могли подняться на подиум, чтобы заглянуть, как в зоопарк — как будто мы были зверями в клетке. Они могли заглянуть через границу, через ворота. И тогда, должен сказать, абсолютно было невозможно подумать, что это изменится.

Кристоф Ланц. Когда начались перестройка, гласность, молодые люди в ГДР считали, что это и их касается? Они понимали, что рано или поздно это дойдет и до ГДР?

Томас Кунце. Молодые люди в ГДР очень любили Михаила Горбачева. И до сегодняшнего дня эти чувства сохраняются. Для нас в Германии и для Европы он сделал огромное количество вещей: он дал нам свободу, демократию.

Живя в ГДР, мы чувствовали, что что-то, наверное, может измениться. Мы, конечно, тогда еще и думать не могли об объединении страны. Но с того момента, когда Михаил Сергеевич занял пост Генерального секретаря в Москве, с начала перестройки, то есть во второй половине 80-х, мы думали о реформе социализма.

На лекциях в университете мы старались обсуждать с нашими преподавателями события в Советском Союзе. Мы спрашивали об этом, потому что, обычно, восточногерманские коммунисты подражали Советскому Союзу во всем. Но в перестройку они решили вести себя иначе. Многие люди моего поколения и поколения моих родителей помнят, что тогда сказал секретарь Политбюро, секретарь по идеологии Курт Хагер. Эта фраза звучит еще сегодня: «Если ваш сосед в квартире начинает переклеивать обои (он имел в виду перестройку в Советском Союзе), нам не нужно сразу же начинать ремонт и у себя дома тоже менять обои».

Руководство СЕПГ в ГДР дало понять: эти реформы в таком виде, как в Советском Союзе, мы проводить не будем. В этом смысле они были едины с Тодором Живковым в Болгарии, с руководством других стран Восточного блока и, конечно, с Николае Чаушеску в Бухаресте, в Румынии.

Кристоф Ланц. Скажите, Томас, что Вы чувствовали тогда, в той ситуации, в то время? Ведь ГДР была страной с самым высоким уровнем жизни среди стран Восточного блока — страной с самой лучшей экономикой. Что Вам не нравилось, чем Вы были недовольны?

Томас Кунце. Нам в ГДР жилось сравнительно неплохо. Безусловно, об этом нужно все время помнить, когда выступаешь, например, в Москве, да и не только в Москве, а где угодно в России и бывшем СССР.

Я вырос в ГДР, был там воспитан, получил образование. Я бесконечно далек от того, чтобы проклинать все, что было в ГДР, и рисовать все только в черном цвете. Для меня это было хорошее время — время моего детства, моей молодости.

То, что мне не нравилось, имело нематериальный характер. Меня волновали не экономические проблемы, не дефицит в магазинах. Прежде всего, мне не хватало свободы. Мне не хватало свободы перемещения. Мне хотелось поехать на Запад, в Западную Германию. А я не мог этого сделать. Я мог поехать, скажем, в Болгарию и увидеть Черное море. Может быть, мне удалось бы когда-нибудь выехать в Стамбул, но не более того.

Мой дед — отец моего отца — жил в Западной Германии. Семья распалась из-за этой границы. Мы не могли увидеться. Я не мог съездить в деду, он не мог приехать ко мне. Когда в 1977 году мой дед умер, отец подал заявление с просьбой поехать на его похороны. Заявка была отклонена по причинам, которых мы не знаем до сих пор... Мой отец был очень сильным человеком. Я увидел тогда, как он плакал.

Кристоф Ланц. Мы в Западной Германии думали: что сейчас будет делать Горбачев? И у нас писали, что с этой гласностью он и месяца не продержится. И мы чувствовали, какие большие ожидания люди с ним связывают.

А Вы, Михаил Сергеевич, не боялись брать на себя эту ответственность? Потому что ответственность была действительно серьезной.

М.С. Горбачев. Все, что мы делали, все решения, которые мы принимали — это крайне ответственно... Поэтому мы не торопились, а хотели, чтобы время работало, и общество набиралось опыта и суждений, и гласность открывала возможности для того, чтобы мы видели и прошлое, и настоящее, и будущее. Так что постепенно мы укреплялись в правоте того, что мы начали. Но, в общем, это требовало отваги. Отвага у нас была.

Кристоф Ланц. Мы всегда друг друга спрашиваем: что ты помнишь об этом дне, 9 ноября, где ты тогда был, что ты делал? Для людей нашего поколения это, наверное, самое крупное событие в жизни. Никто не надеялся, что оно произойдет.

Это ключевой вопрос в наших дискуссиях. Поэтому хочу Вас, Томас, спросить: а где Вы были 9 ноября 89-го?

Томас Кунце. Наверное, каждый прекрасно помнит, что он делал в тот день. Я был дома, смотрел по телевизору пресс-конференцию Гюнтера Шабовски⁵. На следующий день я поехал в Западный Берлин. Наверное, навсегда останется у меня в памяти то, что происходило тогда на Курфюрстендамм. Наверное, это даже объяснить невозможно. Весь город пра-

⁵ Гюнтер Шабовски — член Политбюро Центрального комитета СЕПГ.

здновал. Это была одна сплошная вечеринка? причем очень мирная. После футбольных матчей такого не бывает. Обычно обязательно где-нибудь алкоголь вступает в игру, что-нибудь идет не так... Но тогда все было мирно. И это большое счастье для нашего поколения. Нам крупно повезло, что нам довелось это пережить.

Я историк по образованию, по профессии. Мне кажется, не многим историкам выпадает такое счастье — стать свидетелями такого важного события, которое переписало всю мировую историю. А мы стали его участниками — участниками той мирной революции, мирного народного праздника в Берлине. И это настроение чувствовали все.

Кристоф Ланц. 9 ноября 1989-го прошло, началась новая жизнь. Каковы были Ваши ожидания? Что равноправные партнеры будут строить совместное будущее? Эти ожидания были реализованы, по Вашему мнению?

Томас Кунце. Да, я думаю, что после падения Стены эти ожидания были, в общем-то, исполнены. В лице Западной Германии ГДР имела партнера, который вкладывал миллиарды немецких марок, потом евро в Восточную Германию и превратил эту часть страны в равного партнера по уровню жизни.

Мы с большим интересом наблюдали за тем, что происходило здесь, в России. Михаил Сергеевич верно сказал, что исходные позиции для бывшего Советского Союза, для России были намного сложнее, чем для ГДР и таких, стран, как Польша или Чехия. Россия действительно очень много сделала для нашей свободы, для свободы европейцев. И это огромная заслуга России. Процесс трансформации в самой крупной стране мира, очень милитаризованной стране, в которой живут различные нации, люди исповедующие разные религии — и христиане, и мусульмане, и буддисты — происходит намного сложнее.

Двадцать пять лет — это уже история. Произошло присоединение ГДР к ФРГ. То есть Конституция, законы, правовые нормы были полностью перенесены из ФРГ в ГДР.

В начале 60-х годов люди просто начинали бежать из ГДР. И сегодня вопрос, конечно, чисто теоретический: что было бы,

если бы, скажем, мы не приняли Конституцию ФРГ? Надо сказать, что Конституция ФРГ была не самой плохой на тот момент.

Кристоф Ланц. Госпожа Крауфорд, что Вы думаете? Вы были активным сотрудником правозащитного движения «Новый форум» и Вы активно способствовали тем переменам, которые происходили в ГДР.

Клаудиа Крауфорд. В ФРГ был высокий уровень жизни. И тогда граждане ГДР хотели жить так же. Они принимали решения, хотя до конца, может быть, не осознавали того, что эти решения будут для них означать. Позже они стали больше анализировать ситуацию, свое положение. Да, конечно, в ФРГ была очень бюрократическая система. Но немцы вообще бюрократы. И поэтому в ФРГ было принято очень быстрое решение по изменению ситуации в ГДР. Стали строиться новые автобаны, новые предприятия, стала меняться инфраструктура.

Это было важно. Но не это было главным решением. Главное решение заключалось в том, что Основной закон ФРГ предоставлял нам свободу, демократию. Мы, в бывшей ГДР, хотели жить именно в таких условиях.

Борис Славин. Я хотел бы от услышать от наших немецких коллег, какие сохранились противоречия и трудности в Западной Германии после падения Стены? Насколько я знаю, существуют проблемы, как раз связанные с различием жизни одной половины и второй половины Германии.

На мой взгляд, конечно, восточные немцы приобрели очень много позитивного и в плане свободы, о которой здесь говорилось, и в другом плане. Но социальная справедливость выходит сейчас на первое место. Я хотел бы узнать, какие проблемы сегодня существуют в Германии, связанные или унаследованные от того времени, когда была Стена? Не только в позитивном, но и в проблемном плане? Мне многие восточные немцы говорили, что они приобрели много, но многое потеряли.

Мне вспоминается, как я задал вопрос китайскому рабочему: где было лучше жить — при Мао Дзэдуне или при Дэн

Сяопине? Он мне ответил: при Дэн Сяопине стало лучше жить, но справедливости стало меньше.

Здесь аналогия с восточными и западными немцами есть или нет?

Кристоф Ланц. На вопрос, который Вы поставили нам, может быть, ответит Томас Кунце. Но я хочу Вас проинформировать о том, что, например, в Тюрингии — в одной из федеральных земель — мы непосредственно стоим перед тем, что у нас возникнет коалиция социал-демократов и партии левых, то есть бывшей ГДРовской правящей партии и «зеленых». То есть спустя двадцать пять лет будет править такая интересная коалиция. И премьер-министром там будет человек из бывшей ГДР.

Томас Кунце. В коммунистических диктаторских государствах было больше справедливости? Может быть, было большее социальное равенство. Но что касается моральной справедливости, то в этом отношении я настроен очень скептически.

Хочу подчеркнуть: то, что сегодня немцы различаются на Востоке и Западе Германии, не связано с ностальгией по социальной справедливости. Поясню, что я имею в виду.

Я наблюдал падение двух диктатур. Мой отец родился в 17-м году. Он активно участвовал во Второй мировой войне. Надо сказать, что и я понимал, что такое война, какое значение имела Отечественная война для России, насколько она была ужасна. У всех в нашей семье сформировалось убеждение, которое я полностью разделяю и сейчас: ни в коем случае нельзя допустить войны.

Другое мое убеждение связано с событиями объединения Германии: нельзя допустить, чтобы люди, которые говорят на одном языке, имеют одну историю, имеют общую семью, были разделены Стеной. Хотя всегда, конечно, сохраняются остатки прошлого в нашем сознании, и нельзя полностью уничтожить, вычеркнуть воспоминания о предыдущей диктатуре... Поэтому то, что пока еще разделяет восточных и западных немцев — воспоминания. Но наши дети уже не мыслят в категориях «восточных» и «западных» немцев. Наши дети жи-

вут в единой стране. У них нет таких воспоминаний. У них единый мир. И мы все хотим так жить.

Жизнь резко изменилась, и все стало иначе, чем было раньше. Естественно, что многие воспринимали время после падения Стены как более сложное, более трудное, потому что столкнулись с проблемами, которых они до сих пор не знали. В ГДР ты был безработный в рамках завода, а теперь ты стал безработным вне завода. В то же время те, кто потеряли работу, имели лучшее материальное обеспечение, чем раньше, в ГДР.

Естественно, происходит огромная дифференциация населения. Но в этом нет ничего общего с уравниловкой. Да, в бывшей ГДР, все были равны. А сейчас есть неравенство: у соседа *большая* зарплата, у него *б?льший* дом, он может себе позволить вещи, которые я не могу себе позволить. Это воспринимается как социальная несправедливость. Но неравенство не значит несправедливость, хотя принять то, что эти две вещи не связаны друг с другом, — очень сложно. Надо добиваться равных возможностей, чтобы изменять ситуацию.

Андрей Рябов:

Мы по-прежнему нуждаемся в «новом мышлении», но — применительно к совершенно новой эпохе.

После падения Берлинской стены объединилась Германия. Европейский проект, основанный на политическом плюрализме, свободе и рыночной экономике, вышел за пределы Западной Европы и ныне охватывает *большую* часть европейского континента.

Падение Стены оказало решающее влияние на то, что глобализация в 90-е годы стала мощным политическим и социально-экономическим процессом .

Наконец, падение Стены показало значимость для современной эпохи такого понятия, как демократический выбор народа. Михаил Сергеевич Горбачев очень точно подчеркнул, что вопреки даже действиям политиков это был, прежде всего, демократический выбор народа.

Тем не менее, спустя четверть века возникают проблемы, которые, казалось, были уже решены. Вновь появляются разделительные линии. Как недавно выразился российский политолог, такими темпами мы скоро будем иметь сразу множество ганзейских союзов по всему миру. То есть началось опять дробление на противоположные группы, блоки и т.д. Может быть, и княжества с учетом процессов сецессии, фрагментации тех или иных государственных образований.

Причем охватывают они не только отдаленные континенты, которые обычно связывают с третьим миром, — Азию, Африку. И Европу захватили эти процессы, по крайней мере, ее Восточную и Юго-Восточную части.

Проблема демократического выбора народа. Как она решается в современных условиях? Референдумы в разных частях не только Европы, но и в других континентах заставляют подойти к этому по-новому.

Таким образом, возникает вопрос: неужели демократический импульс, тот мощный импульс, который придало миру падение Берлинской стены, иссяк, и началась другая эпоха, где все складывается и будет действовать иначе? Возможен и другой ход мысли: мы по-прежнему нуждаемся в «новом мышлении», но — применительно к совершенно новой эпохе, а не просто заимствованном из той, которая была четверть века тому назад.

Михаил Федотов:

Падение Берлинской стены означало модернизацию России.

Так случилось, что пять лет назад я был в Берлине, когда отмечалось 20-летие падения Берлинской стены. И в той многотысячной толпе у Бранденбургских ворот, которая стояла вечером под проливным дождем, был и я. Я шел через эту толпу и слышал, наверное, все языки Европы, в том числе и русский язык. Мы все были там, все были едины, все чувствовали, что мы одна большая Европа. Одна большая Европа собралась там, на этой огромной площади. Подчеркиваю: под пролив-

ным дождем. У кого-то были зонтики. У меня зонтика не было. Но никто не уходил.

Это чувство единства Европы там было в максимальной консистенции. И там чувствовалось, что та Стена, которая рухнула, разделяла не Берлин и не Германию. Она разделяла Европу и мир. Она разделяла планету на два мира, на два противоборствующих лагеря. И она была символом этого разделения.

Помню, как я впервые в жизни выезжал из Советского Союза в Польшу и был потрясен, когда увидел все эти ряды колючей проволоки на границе. Моя мать, с которой мы вместе ехали, сказала: «Чтобы ты понимал, что мы въезжаем в социалистический лагерь». Это точно.

Падение Стены означало возможность не просто конвергенции, а возможность перемешивания народов и людей.

Я помню свой диалог с Григорием Алексеевичем Явлинским. Я говорил ему: для того, чтобы получить хороший суп, нужно его все время перемешивать. А если вы не будете перемешивать, а будете, наоборот, ставить заслонку, перегородку внутри кастрюли, у вас ничего не получится. Нельзя в одной части сварить лучший суп.

М.С. Горбачев. Надо, чтобы там было что перемешивать.

М.А. Федотов. Тот общий суп, который появился благодаря падению Берлинской стены, надо было перемешивать. И перемешивание началось. Действительно, «процесс пошел». Он сопровождался уплотнением трансграничных социальных связей. А это, следовательно, означает и рост человеческого капитала.

Падение Берлинской стены означало и модернизацию России, модернизацию и вестернизацию страны, открывало путь за счет именно этого перемешивания. В последствии появление Интернета превратило мир в одну большую электронную деревню. Сегодня для того, чтобы связаться с человеком, который находится в другой части планеты, не нужно никуда ехать, кричать в телефонную трубку. Достаточно подключить компьютер к Интернету. Это может сделать и ребенок, и чело-

век пожилого возраста. Все доступно. Контакты между людьми стали абсолютно легкими, мгновенными. Это все открывало прекрасные перспективы.

Но, к сожалению, в каждой войне бывают свои инвалиды. В холодной войне тоже были свои инвалиды. И эти инвалиды, как во всякой войне, есть по обе стороны противостояния. Я этих людей достаточно часто встречал и в нашей стране, и за рубежом. Я их так всегда и называл: инвалиды холодной войны. То есть люди, которые впитали холодную войну в ходе этого противостояния и продолжают жить и мыслить категориями холодной войны — «мы и они». А это значит — линия разделения, а это значит — стена.

Сейчас мы наблюдаем попытки создания новых стен. Бетонная стена строится на Украине — на границе с Россией...

Появляются «стены» в экономике — санкции и антисанкции. Я сразу вспоминаю анекдот про двух ковбоев, которые на спор ели всякую гадость. Доллары не заработали, а гадости наелись. И дальше они едут по прерии и думают: а зачем? История с санкциями — это то же самое. Это экономическая стена, которая ничего хорошего не несет.

Есть информационные «стены». Например, недавний закон об ограничении 20-процентами иностранные инвестиции в СМИ⁶. В действительности этот закон (который сравнительно легко обойти) провоцирует правовой нигилизм. Он, конечно, не что иное, как попытка построить информационную «стену».

Коммуникационные «стены» тоже строятся. Так, сейчас есть очень большая опасность сегментирования Интернета, когда вместо огромного Мирового океана мы получаем национальные «озера» или «болота» — где как получится.

Как показывает жизнь, стены воздвигают — тем не менее, они не вечны. Границы между государствами строятся не из бетона, а с помощью норм международного права. Такие «стены» гораздо прочнее, чем бетонные.

⁶ Имеется в виду Федеральный закон Российской Федерации от 14 октября 2014 г. №305-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»».

Михаэль Хан:

Когда мы говорим — Европа, обычно, подразумеваем Европейский Союз. А Европа гораздо больше, чем ЕС.

Мы обсуждаем вопрос о выводах, которые можно сделать спустя 25 лет после падения Берлинской стены. Это довольно-таки опасный поворот: с одной стороны, события постоянно развиваются; с другой стороны, каждое историческое событие уникально — поэтому есть определенная опасность заняться спекуляциями...

Когда в 1987 году я закончил в ГДР школу, мне было 18 лет, и передо мной открывалась дорога во взрослую жизнь. Мне многое было понятно, как и большинству моих сверстников. Мы родились в ГДР, но мы знали, что мы не встретим в ГДР нашу старость. Мы не знали, как и когда мы покинем эту страну, но мы все были абсолютно уверены, что рано или поздно уедем на Запад. У каждого для этого были различные причины.

В период всего времени существования ГДР более миллиона человек, то есть 10% населения ГДР, приняли такое решение и покинули ГДР официально, легально или нелегально.

Я знал, что, живя в ГДР, не буду иметь право свободно путешествовать по миру. Но для меня решающим было даже не это и не потребление, не красивые вещи, которые я мог видеть в рекламах западногерманского телевидения. Для меня решающим было то, что очень тяжело, даже невозможно — жить во лжи.

Родители обычно говорят детям: не лги, говори правду. Но в обществе, в котором я жил, родители говорили: не рассказывай, какой канал мы смотрим, не рассказывай, о чем мы говорим дома, не бери все книги, которые есть дома, в школу. Так вели себя, практически, все. Была постоянная ложь, постоянное вранье. В СССР была такая же ситуация...

Школьный учитель в ГДР должен был внимательно следить за тем, что говорят его ученики и был обязан информировать руководство школы, если дети высказывали запрещенные взгляды. Хотя сам учитель слушал западногерманское радио, смотрел западногерманское телевидение. Партийный секретарь, контролировавший, как ведут себя рядовые члены СЕПГ, видел все недостатки и ошибки этой системы. И чаще

всего сам был не очень убежденным сторонником этой системы.

Согласно римскому поэту и философу Лукрецию, счастлив тот, кто знает природу вещей. Наверное, это было моим главным побудительным мотивом — желание знать, в чем природа вещей. Тогда не было Интернета. Нашим Интернетом была западноберлинская радиостанция «РИАС-2». Это был наш доступ в открытый мир, наш доступ к правде.

Внезапно, в 86–87-м годах произошло что-то совершенно не знакомое для нас всех. Появился новый Генеральный секретарь ЦК КПСС, а потом Президент Советского Союза, который начал проводить политику Гласности. В советских газетах, в советских журналах, которых продавались на территории ГДР, мы начали читать статьи о Сталине, статьи о Катыни, о Договоре Сталина-Риббентропа... Это были вопросы, которые затрагивали и наше общество. Для коммунистов в ГДР это стало так опасно, что они практически запретили все советские газеты, советские журналы, даже большинство советских фильмов. Запрет советских газет для многих людей, даже для тех людей, которые верили в систему, были членами Социалистической Единой партии Германии, наглядно показал, что система в том виде, в каком она есть, больше существовать не может.

Мы практически пришли к ситуации, которая известна из трудов Ленина как революционная ситуация. Мы, как я сказал в самом начале, не видели для себя будущего в ГДР. Поэтому состоялись демонстрации — началом была демонстрация в Лейпциге. На них встречались люди, которые хотели покинуть страну. Основной лозунг был: «Мы хотим вырваться на свободу!».

И в один из дней 1989-го года они не кричали: «Мы хотим вырваться на свободу!», — они скандировали: «Нет, мы останемся здесь». Демонстранты имели в виду, что верхи не смогут освободиться от тех людей, которые думают иначе, чем они. Они не смогут от них избавиться — эти люди останутся в стране и будут оказывать давление на власть, чтобы страна изменилась.

Я еще раз повторю: главным, чего я не мог переносить, была ложь, которая господствовала в стране, где государство могло делать все, что угодно, и не отчитываться перед гражданами. Нельзя было ни с кого ничего спросить, не было права что-то изменить в этом или просто высказать свое несогласие.

Конечно, у каждого были свои личные причины, почему он или она участвовали в демонстрациях. Очень многие видели, например, что способы производства, ведения хозяйства, господствовавшие в ГДР, разрушают окружающую среду, и они хотели оставить для своих детей чистую природу. Поэтому они вышли на улицы, чтобы протестовать. Другие вышли, потому что хотели встречаться и свободно общаться со своими родственниками в Западной Германии. Третьи не могли заниматься тем, чем они хотели, не могли изучать то, что они хотели изучать. Все это — разные установки, разные стремления — соединились и практически, это привело к тому, что государство оказалось недееспособным. У него еще оставались инструменты воздействия на граждан, но оно уже не могло их использовать.

Какой урок получили люди? — Они поняли, что должны взять свою судьбу в собственные руки. Они поняли: если то, что нас окружает, нам не подходит, мы должны изменить это сами.

Конечно, я не наивный человек и понимаю, что события происходят в определенном контексте. Если бы такие демонстрации состоялись на десять лет раньше, то их последствия были бы намного болезненнее. Я уверен, что, результат был бы тем же самым, но события были бы, скорее всего, трагическими.

В Польше все началось на десять лет раньше, чем в ГДР, поэтому поляки продвинулись к тому времени намного дальше, чем мы. Уже весной 89-го года в Польше был «Круглый стол»⁷, а летом 89-го года у них уже состоялись свободные выборы. Поэтому я бы не рассматривал падение Берлинской

⁷ «Круглый Стол» — переговоры между властями Польской Народной Республики и оппозиционным профсоюзом «Солидарность», которые проходили в Варшаве 6 февраля — 5 апреля 1989 года и завершились соглашениями о легализации «Солидарности» и политической реформе.

стены как единичное или доминирующее событие. Если взглянуть на это событие шире, можно увидеть, что многие в разных частях ГДР и разных странах Европы, думая по-разному, стремились к тому, чтобы самим решать свою судьбу.

Сейчас говорят, что тот демократический импульс угас. В Германии Федеральный президент Йоахим Гаук выступил с острой речью и сказал, что мы должны защищать свободу и демократию, которые сегодня находятся под угрозой. Он не имел в виду не то, что какие-то группы пытаются угрожать демократии и свободе, а то, что основной угрозой для свободы и демократии являются равнодушие и безразличие. Либеральная демократия имеет ограниченные возможности для того, чтобы создать и защитить свои основы. Свобода обеспечивается, прежде всего, тем, что каждый человек, люди в целом каждый день привносят что-то для развития свободы и демократии. При этом есть люди, которые имеют другие взгляды. И есть люди, которым просто живется хорошо, поэтому они могут быть совершенно безразличными к тому, что происходит.

В 1990 году мы думали, что начнется вечный период мира, разрядки, что конфликтов не будет, все будет решаться в рамках свободы и демократии, которые будут преобладать в мире. Для нас, на Западе, жизнь стала очень удобной: не надо было каждый день сопротивляться, как мы это делали в период революции в ГДР или на протяжении долгих лет до этого...

Тем не менее, мне кажется, демократический импульс может затухнуть, и я хотел бы, чтобы в нашем обществе он приобрел новую силу, новое развитие перед лицом того, что ограничивает свободу и демократию. Конечно, где-то это сделать легче, а где-то — труднее.

Мне, например, совершенно очевидно, что Россия — тоже часть Европы. Когда мы говорим о Европе, европейцах, мы часто продолжаем думать в понятиях политических границ или границ систем. Когда мы говорим — Европа, мы обычно подразумеваем Европейский Союз. А мне ясно, что Европа на самом деле гораздо больше, чем ЕС. Но я вижу, что вопрос о Европейском Союзе, его границах многими воспринимается чересчур болезненно, как будто речь идет о принуждении или даже о некоей злонамеренности...

Мой опыт показывает: все, кто живет и работает в Брюсселе и работает в Европарламенте, каждый день соприкасаются с Европейским Союзом, — знают, что граждане Польши, Прибалтийских стран, Чехии, Словакии, Венгрии стремились вступить в ЕС. Причины этого были не только экономические, но и идейные. Но Европейский Союз в течение длительного времени очень сдержанно относится к этим стремлениям. В 2004 году большая часть этих стран вступила в ЕС, но это произошло спустя четырнадцать лет после «бархатных революций». Довольно долго — не правда ли?.. Как раз в эти дни в Брюсселе будет в очередной раз заседать Еврокомиссия. Будет голосование в Европарламенте, и будет снова назначен Комиссар по вопросам расширения ЕС. Этот Комиссар выступит перед Европарламентом и заявит, что в ближайшие пять ЕС не будет расширяться.

Я говорю об этом, чтобы продемонстрировать, что Европейский Союз очень осторожно подходит к вопросам расширения и вступления в него новых стран.

В то же время никто не может отрицать, что за время, прошедшее с 1990 года, сотни миллионов людей получили возможность самостоятельно выбирать стиль жизни, место жительства и возможность самостоятельно строить свою жизнь. Это останется, и, надеюсь, будет распространяться в мире.

Сергей Лукашевский:

Разрушение Берлинской Стены стало следствием интеллектуальных импульсов.

25 лет со дня падения Берлинской стены — не просто важный символ воспоминания. Особенно сегодня это не просто юбилей. Контекст современный, международный и наш российский внутривнутриполитический контекст добавляют этой дате смысл и значение.

Мне бы сначала хотелось поговорить про «стены». Вот уж многозначный оказался символ! Возведение Берлинской Стены тоже было очень важной символической вехой — оно сорок лет знаменовало собой многие негативные последствия для народа Восточной Германии, но одновременно, и окончание

бурного перемещения границ, попыток изменения международной ситуации. Возведение Берлинской Стены ознаменовало начало периода холодного, сдержанного противостояния.

Мне не нравятся «стены». Но сейчас главная опасность, возможно, даже не в том, что кто-то опять пытается строить «стену», а кто-то пытается с помощью «стены» сдержать попытки пересмотреть и переиначить мир, как он сложился благодаря импульсам, вызванным падением той, Берлинской, стены. В этой связи мне хотелось бы отметить важную вещь. Название нашей дискуссии подразумевает, что падение Берлинской стены явилось импульсом для будущего — но в действительности, само разрушение Стены стало **следствием** интеллектуальных импульсов. Если бы Михаил Сергеевич Горбачев не произнес слова о перестройке и гласности, многие процессы не оказались бы запущенными — их надо было сначала **назвать**. И тогда создается интеллектуальный импульс.

Хочу напомнить, что, возможно, одним из первых интеллектуальных импульсов, которые впоследствии привели к падению Берлинской стены, были выступления Андрея Дмитриевича Сахарова. И, собственно, в своем первом и самом известном эссе — размышлении о прогрессе, международной безопасности и интеллектуальной свободе — он формулирует два главных тезиса. Первый — разобщенность человечества, символом которого является Берлинская стена. Сахаров говорит о том, что Стена угрожает человечеству гибелью — в тот момент речь шла о ядерной войне, возможной между двумя блоками. Можно переформулировать этот тезис так: угрозы, которые стоят перед человечеством, могут быть преодолены только сообща.

Второй тезис, с которым выступил Сахаров: человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода. И опять символом барьеров между людьми, препятствием свободному распространению информации, свободному перетоку знаний (не только физическому перемещению людей в мире) выступали Берлинская стена и «железный занавес» в целом.

Импульсы, вызванные поворотными событиями, могут затухать. Сейчас мы наблюдаем, как затухает импульс, кото-

рый был дан событиями 89-го года, в целом, не только событиями в ГДР. Число демократий не увеличивается в мире, а даже начинает уменьшаться. С чем это связано?

Мне кажется, что, к сожалению, ответ простой и коренится он в некоторых природных свойствах человеческой природы. Когда человеку не угрожает прямая опасность, его внимание притупляется. Поскольку падение Берлинской стены, поскольку та политика, которую запустил в отношениях между советским блоком, социалистическим блоком и Западом Горбачев, привели к снятию прямой угрозы ядерной войны, — внимание и ответственность начали притупляться.

Падение Берлинской стены, снятие барьеров не только в политическом, но и в экономическом смысле, создание Европейского Союза естественным образом, как это и всегда бывает в мировой экономике, приводят к экономическому развитию, росту благосостояния. Рост благосостояния оборачивается тем, что люди увлекаются собственным развитием, карьерой, благосостоянием, собственными возможностями — теми прекрасными естественными возможностями, которые открылись перед ними с падением Стены. И забывают, что свобода, демократия, уважение человеческого достоинства — эти ценности нуждаются в постоянной, каждодневной поддержке.

Это, в действительности, глобальный процесс, который проявляется по-своему во всех странах. В том числе, в странах, которые были и остаются сейчас демократическими.

В международной политике — от политического оптимизма, который, казалось бы, утверждался событиями конца 80-х годов, опять возвращается к тому, что Сахаров называл, — подход эмпирико-конъюнктурный, а сейчас чаще всего его называют реал-политик. Опять провозглашается торжество интересов над международным правом и над идеей общности людей, которая, казалось бы, восторжествовала двадцать пять лет назад.

Хочется спросить: изменились ли угрозы, которые стоят перед миром? Например, те угрозы, которые Сахаров перечислял еще в 68-м году в своем знаменитом эссе «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»? — Нет, угрозы все те же самые.

Сахаров говорил об угрозе ядерной войны. Да, она не стоит так жестко, как она стояла в период противостояния двух враждебных блоков. Но мировая озабоченность по поводу ядерной программы Ирана, по поводу ядерного оружия Северной Кореи говорит о том, что угроза существует.

«Угрозу голода», как ее называет Сахаров, я бы применительно к нынешним реалиям назвал угрозой бедности. Существует ли она? Безусловно, существует. Экологическая угроза существует. Угроза сокращения возможностей для интеллектуальной свободы. Угроза национального и политического терроризма (удивительно, что более, чем тридцать лет назад Сахаров отмечал эту угрозу как одну из существующих) — она только увеличивается в мире.

Существующие угрозы усугубляют и порождают новые очаги кризиса. Поэтому так же, как и много лет назад? сейчас можно повторить: только сообща человечество сможет преодолеть разделение человечества. Почему тот импульс, который возник в результате событий 89-го года в странах Центральной и Восточной Европы, привел к таким устойчивым результатам? Потому что стремление людей к свободе было воплощено в твердых правовых институтах, в торжестве принципа верховенства права. Там, где такие институты и такую правовую систему создать не удалось или удалось в меньшей степени, как, например, на территории стран СНГ, в большинстве случаев, мы видим, как этот импульс затухает. Во многих событиях самого последнего времени можно видеть реализацию архаического права силы. И мир стоит перед вызовом, которому можно поставить заслон — не «стену», а заслон, только сообща.

Павел Палажченко.

Я не раз слышал от Михаила Сергеевича, что он не жалеет о выборе, который сделал.

Михаил Сергеевич Горбачев говорит о том, объединение Германии было неизбежно — в силу того, что произошло в период перестройки, и в силу культурных, психологических

сдвигов, которые совершились даже в советской коммунистической элите.

Хотя неизбежно было, что немцы займут такую позицию по объединению, советское руководство, несмотря на все перемены, в тех условиях могло занять, конечно, и другую позицию. И в этом плане лидерство Горбачева было очень важным.

Вспомним, кто был против объединения Германии. Самые большие противники объединения Германии — это, я считаю, Тэтчер и большинство советских германистов.

Когда политический лидер находится в таких «клещах», не так-то все просто. Я переводил беседы Шеварднадзе с Тэтчер, когда начались все эти события, затем беседы Михаила Сергеевича с Тэтчер. В каждой беседе есть текст и есть подтекст. Текст у Тэтчер был местами слегка скептический, а подтекст был очень скептический в отношении не только объединения Германии, но и процессов, которые происходили в Восточной Европе, то есть «бархатных революций». Даже это ей не нравилось. И она давала это понять. Особенно в первой беседе, которая состоялась у Тэтчер и Шеварднадзе, когда происходили румынские события. Они вызывали у Тэтчер настоленную реакцию. Это было видно и местами даже слышно...

О советских германистах: я перечитал записки Фалина, полные скепсиса. При этом Фалин не предлагал ничего из того, о чем говорил потом — что, дескать, надо было танки выставить, и это бы сразу их припугнуло. Ничего подобного он тогда не предлагал.

Тем не менее, общее ощущение, что это потенциально для нас опасность и что мы должны к этому отнестись очень осторожно, конечно, были. В МИД СССР германским направлением заведовал на протяжении десятилетий Бондаренко. Я говорил с молодыми сотрудниками МИДа, которые поработали и в ГДР, и в ФРГ. Казалось бы, побывали в обеих Германиях, почувствовали разницу и должны были понимать, что немцы захотят объединиться. Прошло сорок лет после окончания войны, а сорок лет — все-таки большой период. Немцы заплатили свои долги, доказали, что способны к демократии, к нормальной жизни... Но существовало очень скептическое отношение к немцам — те же страхи и опасения, что в каждом из

них потенциально сидит, сами знаете кто; что этого нельзя забывать и т.д. Если у молодых сотрудников МИД это отношение было, что говорить о людях с опытом!

Так что Горбачев мог принять разные решения в таких условиях, когда и Тэтчер, и Миттеран вначале (потом, правда, его позиция изменилась) не поддерживали объединения Германии. А тут еще — экспертное сообщество. Известно, что у Горбачева к экспертам очень внимательное отношение, очень позитивное. Он прислушивается к экспертам. Так что по-разному могло бы получиться. И, слава Богу, что получилось правильно.

Я не раз слышал от Михаила Сергеевича, что он не жалеет о выборе, который сделал. Этот выбор сделал именно он. Политбюро тогда еще было такое, что оно пошло бы за ним, если бы он взял курс на торможение или остановку процесса, который привел к объединению Германии.

Заключение

Клаудиа Крауфорд

Хотела бы поблагодарить за то, что вы выслушали наши истории об опыте, связанном с падением Берлинской стены, и опыте, который мы, немцы, приобрели за двадцать пять лет. Россия тоже приобрела за это время опыт, но он другой.

Мне было очень интересно следить за дискуссией и, прежде всего, видеть Михаила Сергеевича Горбачева, слышать то, что он рассказывает. Такие события редко происходят. Мне было очень важно услышать разные позиции, разные подходы.

Сегодня существуют трудности в отношениях между Россией и Германией, Россией и Европейским Союзом. Мы используем, может быть, различные понятия, по-разному понимаем и интерпретируем события. Но только на базе международного права мы можем совместно сотрудничать друг с другом. Но и в этом у нас различный подход, связанный с раз-

ным видением международного права. Я говорю не только о присоединении Крыма, которое, с точки зрения Запада воспринимается как нарушение международного права, а с точки зрения России, наоборот, как акт в рамках международного права. Я думаю, что надо искать общее понимание в вопросе международного права, в понимании того, что в принципе оно собой представляет.

У нас есть потребность видеть в России партнера. И у нас есть уже такой опыт партнерства. Позиция России очень важна для решения многих конфликтов, существующих в мире.

Когда я спрашиваю: что же в эти 25 лет сделано неправильно, то, мне кажется, это связано с тем, что здесь, в России, возможно, не до конца поняли, что речь идет именно о партнерстве. А когда ты становишься партнером, язык общения меняется, он становится другим. И круг вопросов, которые ставятся, тоже становится другим. Мне кажется, Россия не почувствовала, что в ее партнерстве нуждаются и что она рассматривается как партнер. Мне кажется также, что при партнерстве все-таки необходимо, чтобы оно было двусторонним и присутствовало общее понимание партнерства.

Думаю, потребуются, к сожалению, много времени, чтобы преодолеть разногласия, которые существуют сейчас в наших отношениях. Надеюсь, мы все-таки добьемся здесь успеха. И то событие, которое мы здесь обсуждали, о котором мы вспоминали сегодня, дает нам уверенность в том, что мы в состоянии решить вопросы в самой сложной ситуации, даже в конфронтационной ситуации.

Надеюсь, что еще не раз мы будем встречаться и говорить друг с другом.

Ольга Здравомыслова

Мы обсуждали юбилей революционного события — 1989 год и падение Берлинской стены. Это «бархатная революция», но, тем не менее, это настоящая революция.

Когда мы формулировали название конференции, одним из первых вариантов было «Падение Берлинской стены: уроки

для будущего». Мы отказались от этого названия, потому что согласились: если революция уже произошла, из нее поздно извлекать уроки. Она сама — результат «невыученных» уроков. Но революция создает мощные импульсы для будущего.

«Бархатные революции» в Центральной и Восточной Европе дали импульс сотрудничеству и партнерству. В нашем случае, сотрудничеству и партнерству России и Европейских стран: тех, что когда-то были за «железным занавесом», и тех, что принадлежали к социалистическому лагерю, а потом вошли в общий Европейский мир. Был дан импульс полноценному сотрудничеству между Россией и ЕС, и конечно, между Россией и Германией.

Новое начало сотрудничества было воспринято очень благодушно: плохое закончилось, и теперь будет только лучше и лучше. Сейчас, когда мы столкнулись с серьезным кризисом (что признано всеми), пришло время понимания: те импульсы, в том числе, интеллектуальные импульсы, не были достаточно сильны, или они не были до конца осмыслены и использованы. Эта работа все еще находится в самом начале, поэтому значение дискуссии — диалогов между Россией и странами Европы будет со временем только возрастать.

УДК 94(47+57)

Г 67

Горбачевские чтения. Вып. 10. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: ИДЕИ И ЛЮДИ. 1968-1988-2008. Судьбы идей. Шестидесятники в жизни страны. Россия: определился ли новый вектор? 25 лет без Берлинской стены. Память и импульсы для будущего / Междунар. Фонд соц.-экон. и политол. исслед. (Горбачев-Фонд). — М.: Горбачев-Фонд, 2015. — С. 198.

*Под редакцией О.М. Здравомысловой
Компьютерный набор И.Г. Вагина*

ISBN 978-5-94101-294-7

© Горбачев-Фонд, 2015

© Оформление И.П. Матушкина И.И., 2015